# Чужая память

# Кир Булычев

## 1

За долгие годы Сергей Андреевич Ржевский привык не замечать здание института и окружавшие его дома. Но в тот понедельник машина за ним не пришла. Ржевский добирался до работы автобусом и увидел, что начали ломать барачный поселок, тянувшийся от автобусной остановки.

Поселку было лет пятьдесят, его построили в тридцатые годы. Между двухэтажными желтыми бараками выросли высокие тополя. Сергей Андреевич понял, что бараки ломают, когда вместо первого из них оказался светлый проем в деревьях, за ним, как в раме, из которой вытащили привычную картину, тянулся еще не застроенный пустырь до самого горизонта, до белых зубцов нового района.

У следующего барака стоял экскаватор с чугунным шаром вместо ковша. Железо с крыши сняли, и оно лежало сбоку неровной кипой листов тускло-зеленого цвета.

У третьего барака Ржевский остановился. Когда-то он прожил здесь полгода, устроившись на работу в институт. Снимал комнату на втором этаже.

Барак был пуст, входная дверь приоткрыта, можно войти, но Сергей Андреевич отогнал внезапное желание оказаться в той комнате, подойти к окну на улицу и постоять у него, как стоял и ждал когда-то.

Ржевский посмотрел на часы, словно искал оправдание поспешному уходу. Часы показывали десять минут десятого. Сергей Андреевич прошел еще сотню метров и увидел свой институт — серое четырехэтажное здание с большими квадратными окнами и несоразмерно маленькой дверью. Когда институт построили, Москва еще не добралась до этих мест. А потом город обошел его языками домов, институт вошел в пределы Москвы, но вместе с барачным поселком остался заводью в высоких берегах новостроек.

Надо делать ремонт, подумал Ржевский, глядя на осыпавшуюся на втором этаже штукатурку. Сейчас вызову Алевича. Неужели ему самому не стыдно?

## 2

В коридоре было пусто, все уже разошлись по отделам и лабораториям. В узком предбаннике перед кабинетом Ржевского тоже было пусто. На столе секретарши записка:

«СА! Я в месткоме. Обсуждаем итоги пионерлагеря. Лена».

Рядом несколько конвертов официального вида — приглашения. Новый английский журнал. Автореферат, из Ленинграда.

Настроение было испорчено. Ржевский искал причину, не желая признаться себе, что виноваты бараки. Что он хотел сделать? Вызвать Алевича? Нет, сначала надо просмотреть почту...

За приоткрытой дверью в кабинете послышался шорох. Потом легкий скрип. Кто-то открывал средний ящик его письменного стола. Этого еще не хватало!

Ржевский сделал было шаг к кабинету. И вдруг остановился. Ему стало страшно.

Страх был иррационален. Директор института боялся войти в собственный кабинет. Ржевский стоял и слушал. И ему хотелось, чтобы из кабинета вышла Лена и сказала: «А я у вас на столе прибрала». Но в кабинете было темно, шторы задвинуты. Лена первым делом открыла бы шторы.

— Кто здесь? — спросил Ржевский от двери. Голос сорвался. Пришлось откашляться.

Тот, кто таился в полутьме, не хотел отвечать. Молчал, затаился.

Надо войти и зажечь свет. Но свет в кабинете зажигается очень неудобно. Надо сделать два шага в сторону, по правой стене. Там выключатель. От двери не дотянешься. Зачем повесили такие плотные шторы? Кино, что ли, здесь показывать?

В кабинете не совсем темно. Глаза различили стол буквой «Т». Шкафы по стенам... Ржевский шагнул в кабинет и, прижимаясь спиной к стене, двинулся к выключателю. Уже протягивая к нему руку, разглядел за письменным столом темную фигуру. И понял, что у фигуры нет лица. То есть лицо было темным, как туловище, как руки... Темная голова шевельнулась, следя за Ржевским, и отраженным от двери светом блеснули маленькие глаза.

И тут громадное темное тело, словно подброшенное пружиной, взлетело в воздух и метну лось к Ржевскому. Он не сообразил, некогда было соображать, что тело несется к двери. И сам бросился туда же.

Успел к двери в тот момент, когда ее достигло и черное существо. Отлетел в сторону, ударился о стол, все закружилось, обрушилось в пропасть... На несколько секунд он потерял сознание. Очнулся от боли в спине и в ноге. И от страшного вопля, визга в коридоре. От топота. От криков. Он понял, что сидит на полу, прислонившись спиной к столу секретарши.

## 3

Алевич прибежал первым, помог директору подняться, хотел вызвать «скорую помощь», но Ржевский велел отвести его в кабинет.

Алевич открыл шторы, поднял опрокинутое кресло. Он сокрушенно качал головой и повторял:

— Надо же! Вы только подумайте.

Сергей Андреевич молчал. Он сел в кресло, заглянул в полуоткрытый ящик стола, вытащил оттуда смятую красную бумажку, расправил, положил на стол. И вдруг улыбнулся. Улыбка получилась растерянной, даже глупой.

— Как же я не сообразил, — сказал он.

— Клетка оказалась легкомысленно открытой, — объяснил Алевич, сидя на корточках и собирая бумаги, улетевшие со стола. — Может, дефект замка? Гурина клянется, что вчера запирала.

— А сегодня утром она заходила в виварий? — Ржевский сложил красную бумажку вдвое, потом вчетверо, провел ногтем по сгибу, подкинул фантик ладонью.

— Сегодня утром?.. Мы сейчас ее вызовем.

— Не надо. Я сам туда спущусь.

— Может, все-таки вызовем врача?

— Ничего не случилось, — сказал Ржевский. — Немного ушибся. И все. Надо было мне раньше догадаться. Струсил.

— Бывает, — сказал Алевич, — даже с директорами.

Он подошел к двери на два шага сзади Ржевского, в дверях обернулся, глазом смерил расстояние до письменного стола, покачал головой:

— Надо же так сигануть!

## 4

Оба шимпанзе жили на первом этаже, в большой комнате, разделенной пополам толстой редкой решеткой, отдельно от собак, которые ютились в подвале и устраивали иногда шумные концерты, будто оплакивали свою подопытную судьбу.

Глаза у Гуриной были мокрыми.

— Я запирала, — сказала она. — Я проверила, перед уходом проверила.

Шимпанзе были очень похожи. Только у Джона, матерого самца, морда уже потеряла лукавство и озорную подвижность. Он спокойно чесал живот, чуть прищурив глаза, кивнул солидно Ржевскому и ничего просить не стал — знал, что у этого человека не допросишься. Захочет, сам даст. Лев — живее. Лев сморщил лицо, удивительно похожее на отцовское. У обезьян разные лица, как у людей, — если общаться с ними, никогда не спутаешь. Лев вытянул губы вперед. Лев был собой доволен.

— Ну как же ты, чуть директора не убил, — сказал ему укоризненно Алевич.

— Это чья клетка? — спросил Ржевский.

— Как так чья? — не поняла Гурина.

— Лев сидит в своей клетке?

— Конечно, в своей, — сказала Гурина.

— Ошибка, — поправил ее Алевич. — Мы его сюда только на той неделе перевели. Поменяли клетки.

— Правильно, — сказал Ржевский. — Тогда все понятно.

— Что? — Гурина была очень хороша непорочной, розовой красотой с какой-то немецкой рождественской открытки. Только вот глаза мокрые.

Ржевский подошел к клетке и сунул руку внутрь. Лев протянул лапу и дотронулся указательным пальцем до руки Ржевского.

— Осторожнее, — прошептала Гурина.

— Не беспокойтесь, Светлана, — ответил Ржевский. — Мы с ним давно знакомы. Уже пятый год.

Гурина не стала спорить. Не посмела. Лев появился в виварии три недели назад. До этого Ржевский видеть его не мог. Но возражать было бессмысленно

— директор знал, что говорил. Если, конечно, не произошло мозговой травмы.

— Покажи-ка, Лев, — велел Ржевский, — как открывается этот замок.

Джон заволновался в своей клетке, заворчал, был недоволен.

— Ну, чего же, — настаивал Ржевский. — Мы же знаем этот маленький секрет.

Лев наклонил голову набок. Он все понимал. Потом знакомым, джоновским движением почесал себе живот.

— Ты уже съел, — сказал Ржевский. — Нечестно дважды получать награду. Ты съел без разрешения.

Он вынул из кармана красный фантик, показал Льву. Джона это привело в ярость. Он тряс решетку, пытался добраться до сына, чтобы наказать его за самовольство.

Лев лениво протянул лапу, длинными пальцами пошевелил замок, чуть приподнял его. Замок щелкнул и открылся.

— Вот и весь секрет, — сказал Ржевский. — Спасибо за демонстрацию, Лев.

— Даже я не знала, честное слово, не знала, — сказала Гурина.

— Правильно. Не знали. Знали только Джон и я. Но Джон не пользовался знанием без нужды. Он у нас солидный мужчина.

Солидный мужчина продолжал сердиться. У него были желтые страшные клыки, и в гневе он закатывал глаза, так что видны были только белки.

— Замок сменим, — заверил Ржевского Алевич. — Я сейчас же слесаря позову. Но какой мерзавец, а? Найти дорогу к вам в кабинет. Какая сообразительность!

— Спасибо, Лев, — сказал Ржевский, — спасибо, молодец.

## 5

В кабинете Ржевский подошел к окну. Из окна были видны купы деревьев и среди них равномерный пунктир темно-зеленых крыш бараков. В конце этой плотной зеленой полосы, у шоссе, вместо последних крыш был провал.

Тогда было трудно с деньгами, вернее, денег у них совсем не было. А соседка Эльзы уезжала куда-то, кажется, в Саранск. Она продала им тахту за сто рублей старыми деньгами. Это было дешево. Они тащили тахту через полгорода, Виктор все чаще останавливался, чтобы отдохнуть, садился на тахту прямо на тротуаре, люди проходили мимо, оглядывались, некоторые шутили, Виктору это нравилось. Лиза стеснялась, отходила в сторону, Эльза топталась над Виктором, требовала, чтобы он вставал, шел, — всего этого Виктор не терпел, он ласково улыбался, мягко двигал руками, стряхивал со лба капли пота. Он всегда быстро уставал, физически и умственно. «Еще минутку, — говорил он, — одну сигарету и в путь». Ножек у тахты не было, на свалке рядом с бараком нашли кирпичи и подложили. Поэтому тахту звали печкой. Лиза была счастлива. Она воспринимала тахту как символ будущего дома, хозяйства, даже вечности...

Шаги Эльзы нервно и даже возмущенно простучали сквозь «предбанник», выбили короткую дробь в кабинете. Замерли. Ржевский не обернулся.

— Сергей! Что это значит?

— Ничего не значит.

Он отошел к столу. Эльза на удивление молодо выглядит. В плотно лежащих, прижатых к черепу черных волосах, разделенных на прямой пробор, совсем нет седины. Вот он, Ржевский, уже стал пегим, а ее на первый взгляд можно принять за девушку. Если бы она не прыгала на вечеринках, задирая короткие ноги, не бросалась бы к пианино, чтобы бурно, ученически сыграть Шопена, соскользнуть с Шопена на популярный шлягер, если бы она не старалась так казаться молодой, было бы лучше.

— Сережа, скажи честно, ты пострадал?

Господи, подумал Ржевский, я все равно остаюсь ее собственностью. Она весь мир делит на собственных и чужих. Собственным хуже. К ним требования выше. Надо соответствовать ожиданиям. И не дай Бог покинуть свою полочку и нарушить законы Эльзиной любви. Лучше быть чужим. Эльза была из того прошлого, о котором Ржевский не любил вспоминать, о котором он забыл. И вот надо же было ей отыскать его через столько лет. И все время чего-то просить. По-приятельски. По старой памяти.

— Спасибо за заботу, Эльза, — сказал Ржевский. — Все хорошо.

— Как может быть хорошо, если по институту бегают звери? Ты от меня что-то скрываешь?

— Ничего не случилось, — повторил Ржевский. Он подошел к письменному столу и наклонился, разглядывая ящик. Никаких следов ногтей, никаких царапин. Шимпанзе знал, как открывать стол. — Кстати, ты не помнишь, в каком бараке мы с Лизой жили, в третьем или четвертом?

— В бараке?

— Ну тогда, двадцать пять лет назад. Мы же снимали там комнату. Теперь их начали сносить.

— Не помню, — быстро ответила Эльза. — Это было давно. Может, вызвать врача?

— А ты всегда хвасталась фотографической памятью, — сказал Ржевский. — Мне бы твою память, я бы давно стал академиком.

— Ты и так станешь, — сказала Эльза уверенно. — Если тебя в следующий раз не сожрет тигр. Все-таки расскажи мне, как это произошло.

Ржевскому почему-то не хотелось рассказывать Эльзе об утреннем переполохе. К тому же заведующей институтской библиотекой совсем не обязательно знать обо всем.

— Как у тебя дома? — спросил он. — Как Виктор?

Эльза отмахнулась.

— Мама как? Ниночка?

— Да, кстати, я еще вчера хотела к тебе зайти по этому поводу, — сказала Эльза. — Ниночке поступать в институт.

— Да, знаю, — сказал Ржевский. Летом Нина поступала на биофак и безуспешно. Ни пробивная сила Эльзы, ни помощь Ржевского, которого, конечно же, заставили звонить на самый верх, не помогли. Теперь Нина пережидала год, работала в библиотеке у матери.

— Я хотела тебя попросить — переведи ее в какую-нибудь лабораторию. Ей будет легче поступить. Ты же обещал, когда освободится место. Кадровик сказал, мы набираем лаборантов.

— Хорошо, — сказал Ржевский, подвигая к себе папку с почтой. Может, Эльза догадается, уйдет?

Эльза подошла к окну.

— В самом деле, сносят бараки, — сказала она. — Я и не заметила. Быстро идет время. Ты совсем седой. Тебе надо отдохнуть.

Ржевский поднял голову, встретился с ее взглядом. Взгляд и голос требовали ответной теплоты. Но ее не было. Что будешь делать.

## 6

Эльза открыла поцарапанную бурую дверь, ступила в полутьму коридора. Давно надо бы повесить новую лампу, на той неделе чуть не купила, но сумка была тяжелая, отложила до лучших времен. Паркетины знакомо заскрипели, когда Эльза вешала плащ. Виктора, конечно, нет дома, придет навеселе.

Эльза прошла на кухню, бросила сумку с продуктами на стол рядом с посудой, оставшейся после завтрака. Виктор обещал помыть. Конечно, никто не почесался, чтобы привести кухню в порядок. Хлеб засох, ломтики сыра свернулись, ощетинились сухими краями. Ну, ломают бараки, и Бог с ними, почему она должна думать об этих бараках? Эльза зажгла газ, налила в кастрюлю воды, достала вермишель.

— Кисочка, — раздался голос сзади, — я без тебя изголодался.

— Ты дома? — Эльза не обернулась. — Я думала, на футболе.

— Хлеб я купил. Два батона. Один я съел, кисочка.

За последние годы Виктор расползся и размяк. Эльзе казалось, что стулья начинают скрипеть за секунду до того, как он на них садится.

— На Сергея обезьяна напала, — сказала Эльза.

— Они у вас бегают по институту? — спросил Виктор, придерживая открытую дверцу холодильника, чтобы посмотреть, нет ли еще чего-нибудь съедобного.

— Ты за Ниночку не боишься?

— Молодой шимпанзе вышел из клетки, пробрался в кабинет Сергея и стал шуровать в его письменном столе.

— Не может быть! — Виктор отыскал в холодильнике кусок колбасы и быстро сунул его в рот. Как ребенок, толстый, избалованный, неумный, подумала Эльза.

— Этой обезьяне всего две недели от роду, — сказала Эльза. — Ты все забыл.

— А, опять его опыты... Я сегодня жутко проголодался. В буфете у нас ничего сытного.

— Теперь его не остановить, — сказала Эльза. — Он примется за людей.

— Ты в самом деле хочешь его остановить? — спросил Виктор.

— Он изменился к худшему, — сказала Эльза. — Ради своего тщеславия он ни перед чем не остановится.

— Ты преувеличиваешь, кисочка, — вздохнул Виктор. — У нас не осталось выпить чего-нибудь?

— Не осталось. Человечество еще не готово к такому шагу.

— Не готово? — повторил Виктор. — Значит, надо написать куда следует. Написать, что не готово.

— Нельзя, — сказала Эльза. — Уже писали. Он всех обаял.

— Надо было побольше писать, — убежденно сказал Виктор. — Тогда на всякий случай прислали бы комиссию.

Хлопнула дверь, прибежала Нина. Нина всегда бегала, так и не научилась за восемнадцать лет ходить, как все люди.

— Я сыта, — сказала она от дверей кухни, не здороваясь.

Нина не любила есть дома. Она вообще старалась не есть, она боялась растолстеть.

— Я все устроила, — сказала Эльза. — С понедельника тебя переводят в лабораторию.

## 7

Ржевский кончил говорить.

Они смотрели на него. Шестнадцать человек, которые имеют право сказать «да». Или отказать в деньгах. Или отложить исследования. Остапенко убежден, что все обойдется. Из окна кабинета отличный вид. Москва-река, трамплин на Ленинских горах, дальше — стадион. Вечернее солнце золотит лысины и серебристый пух над ушами. Чего же они молчат?

Остапенко постучал по столу концом карандаша.

— Вопросы? — сказал он.

— А как дела у наших коллег? — спросил крепкий широкий мужчина в цветном галстуке. Он буквально убивал себя этим галстуком — остальное пропадало в тени. — Что делают в Штатах?

Ржевский вновь поднялся. Этот вопрос полезен.

— Мы полагаем, — сказал он, — что японцы уже близки к успеху. С американцами сложнее. В прошлом году была публикация — с собаками им удалось.

— Джексон? — спросил Семанский с далекого конца стола.

— Джексон и Хеджес, — ответил Ржевский. — Потом замолчали.

— Ясно, — сказал мужчина в ярком галстуке. Почему-то Ржевский никогда раньше его не видел. — Значит, на пороге?

— Сегодня трудно допустить, чтобы целое направление в биологии было монополией одной страны. Мы все едем по параллельным рельсам.

— Голубчик, — раздался голос сбоку. Ржевский обернулся и не сразу разглядел говорившего — солнце било в глаза. Голос был скрипучим, древним,

— значит, вы предлагаете заменить собой Господа Бога?

Ага, это Человеков, бывший директор ИГК. Великий консультант и знаменитый тамада на докторских банкетах.

— Если нам выделят средства, то мы постараемся выступить коллективным богом.

Не этих вопросов Ржевский опасался.

— Удивительно, — сказал Человеков. — И во сколько нам обойдется ваш гомункулус?

— Ржевский знакомил нас с цифрами, — сказал Остапенко. — Хотя, разумеется, он в них не уложится.

— Вы думаете, что Пентагон засекретил? — спросил человек в ярком галстуке.

— Я ничего не думаю, — сказал Ржевский. — Хотя убежден, что делать людей дешевле ортодоксальным путем.

Кто-то засмеялся.

— Перспективы соблазнительны, — сказал секретарь отделения. — Именно перспективы. Когда-нибудь мы научимся делать это в массовом порядке.

— Не думаю, что в ближайшем будущем, — сказал Ржевский.

— Первая атомная бомба тоже дорого стоила, — сказал Сидоров. Сидоров был против методики Ржевского. Его фирма работала над близкими проблемами, но, насколько Сергей знал, они зашли в тупик. — Меня смущает другое — неоправданный риск. Кто-то здесь произнес слово «гомункулус». И хоть литературные аналогии могут показаться поверхностными, я бы сказал больше

— чудовище Франкенштейна. Где гарантия, что вы не создадите дебила? Монстра?

— Методика отработана, — сказал Ржевский.

— Я вас не перебивал, Сергей Андреевич. Между опытами над животными и экспериментами над человеком лежит пропасть, и каждый из нас об этом отлично знает.

— Что предлагаете? — спросил Остапенко.

— Создать комиссию авторитетную, которая ознакомится с результатами работы института...

— Я в январе возглавлял уже такую комиссию, — сказал Семанский.

— Тогда вопрос об опыте над человеком не ставился.

— Ставился. Это было конечной целью.

— Считайте меня скептиком.

— А если американцы вправду сделают? — спросил человек в ярком галстуке.

— Ну и Бог с ними! — взвился Сидоров. — Вы боитесь, что там тоже есть... недальновидные люди, которые захотят выкинуть несколько миллионов долларов на жалкое подобие человека?

Началось, подумал Ржевский.

— Я понял, — вмешался Айрапетян, отчеканивая слова, словно заворачивая каждое в хрустящую бумажку, — профессора Ржевского иначе. Мне показалось, что наиболее интересный аспект его работы — в ином.

Остапенко кивнул. Ржевский подумал, что они с Айрапетяном обсуждали все это раньше.

— Клонирование — давно не секрет, — сказал Айрапетян. — Опыты проводились и проводятся.

— Но вырастить в колбе взрослого человека, сразу... — сказал Человеков.

— И это не новость, — сказал Сидоров.

— Не новость, — согласился Айрапетян. — Удавалось. С одним минусом. Особь, выращенная ин витро, была «маугли».

Остапенко снова кивнул.

— Маугли? — Человек в ярком галстуке нахмурился.

— В истории человечества, — начал Айрапетян размеренно, как учитель, — бывали случаи, когда детей подбирали и выращивали звери. Если ребенка находили, то он уже не возвращался в люди. Он оставался неполноценным. Мы

— общественные животные. Взрослая особь, выращенная ин витро, — младенец. Мозг его пуст. И учить его поздно.

— Вот именно, — сказал Сидоров. — И нет доказательств...

— Простите, — сказал Айрапетян. — Я закончу. Достижение Сергея Андреевича и его сотрудников в том, что они могут передать клону память генетического отца. Поэтому мы здесь и собрались.

Они же все это слышали, подумал Ржевский. Но существуют какие-то шторки в мозгу. Сито, которое пропустило самое главное.

— Подтвердите, Сергей Андреевич, — попросил Айрапетян.

Ржевский поднялся. Река казалась золотой. По ней полз розовый речной трамвайчик.

— На опытах с животными мы убедились, — сказал Ржевский, — что новая особь наследует не только физические характеристики донора, но и его память, его жизненный опыт.

— К какому моменту? — спросил Человеков.

— К моменту, когда клетка экстрагирована из организма донора.

— Конкретнее, — попросил Остапенко.

— Мы выращиваем особь до завершения физического развития организма. Для человека этот возраст — примерно двадцать лет. Если донору, скажем, было пятьдесят лет, то все знания, весь жизненный опыт, который он накопил за эти годы, переходят к его «сыну». Я думал, это понятно из моего сообщения.

— Понятно, — сказал Османский. — Понятно, но невероятно.

— Ничего невероятного, — возразил Айрапетян.

— Все без исключения животные, выращенные по нашей методике, — сказал Ржевский, — унаследовали память своих доноров. Кстати, три дня назад ко мне забрался шимпанзе, которому от роду две недели. Но он не только знал, как открыть замок клетки, но и помнил путь по институту до моего кабинета и даже знал, стервец, где у меня в письменном столе лежат конфеты. На самом же деле знал не он, а его генетический отец.

— Он ничего не поломал? — спросил Сидоров.

Наверняка у него свой человек в моем институте, подумал Ржевский. Донесли, как я опозорился.

— Ничего, — ответил он. — Испугался я, правда, до смерти. Вхожу в кабинет, думаю, кто же это сидит за моим столом?

Остапенко постучал карандашом по столу, усмиряя смех.

— Если ваш гомункулус решит погулять по институту, это может кончиться совсем не так смешно.

— Надеюсь с ним договориться, — сказал Ржевский.

— Нет никаких гарантий, — настаивал Сидоров, — что разум гомункулуса будет человеческим. Нормальным.

— Пока что с животными все было нормально.

— Да погодите вы! — вдруг закричал Человеков. Острый кадык ходил под дряблой кожей. — Нам предлагают новый шаг в эволюции человека, а мы спорим по пустякам. Неужели непонятно, что в случае удачи человечество станет бессмертным? Мы все можем стать бессмертными — и я, и вы, и любой... Индивидуальная смерть, смерть тела перестанет быть смертью духа, смертью идеи, смертью личности! Если понадобится, я отдам вам, Ржевский, мою пенсию. Я не шучу, не улыбайтесь.

Ржевский знал Человекова давно, не близко, но знал. И даже знал обоих его сыновей — Человеков запихивал их в институты, спасал, отводил от этих пожилых балбесов дамокловы мечи и справедливые молнии...

— Спасибо, — сказал Ржевский без улыбки.

— Всю жизнь я накапливал в себе знания, как скупой рыцарь, набивал свою черепушку фактами и теориями, наблюдениями и сомнительными гипотезами. И знал, что с моей смертью пойдет прахом, сгорит этот большой и бестолковый склад, к которому я даже описи не имею... — Человеков постучал себя по виску согнутым пальцем. — И вот сейчас пришел человек, вроде бы не шарлатан, который говорит, что ключи от моего склада можно передать другому, который пойдет дальше, когда я остановлюсь. Вы не шарлатан, Ржевский?

— В этом меня пока что никто не обвинял, — сказал Ржевский и заметил, как шевельнулись губы Сидорова, но Сидоров промолчал. Сидоров не верил, но уже понимал, что пожилые люди, собравшиеся в этом кабинете, согласятся дать Ржевскому тринадцать миллионов и еще миллион в валюте.

«А вдруг я шарлатан? — подумал Ржевский. — Вдруг то, что получалось с собаками и шимпанзе, не получится с человеком? Ладно, не получится у меня, получится у кого-то потом, завтра».

— Я не предлагаю своей клетки, — сказал Человеков, — особенно сейчас, когда столь многое зависит от первого опыта. От первого гомо футуриса. Мой мозг уже сильно изъеден склерозом. А жаль, что я не услышал вас, Ржевский, хотя бы десять лет назад. Я бы настоял, чтобы мне сделали сына. Мы бы славно поработали вместе...

— Кстати, — сказал Семанский, когда Человеков устало опустил в кресло свое громоздкое обвисшее тело, — вы задумывались о первом доноре?

— Да, — ответил Ржевский. — Клетку возьмем у меня.

— Почему? — воскликнул вдруг человек в ярком галстуке. — Какие у вас основания? Этот вопрос следует решать на ином уровне.

— Не надо его решать, — сказал Айрапетян. — По-моему, все ясно. Кто, как не руководитель экспериментов, может лучше проводить наблюдения над самим собой... в возрасте двадцати лет?

## 8

С понедельника Ниночка была в лаборатории, но совсем не в той роли, к которой себя готовила. Она ездила. Каждый день куда-то ездила, с бумагами или без бумаг. С Алевичом или без него, на машине или на автобусе. Получала, оформляла и тащила в институт. Будто Ржевский готовился к осаде и запасался всем, что может пригодиться.

Директорская лаборатория занимала половину первого этажа и выходила окнами в небольшой парк. Деревья еще были зелеными, но листья начали падать. В парке жила пара ручных белок. Во внутренних помещениях лаборатории, за металлической толстой дверью с иллюминатором Нина была только один раз, на субботнике, когда они скребли стены и пол без того чистых, хоть и загроможденных аппаратурой комнат. Даже электрик Гриша входил туда только в халате и пластиковых бахилах. Ничего там интересного не было: первая комната с приборами, вторая от нее направо — инкубатор, там ванны с биологическим раствором. Одна чуть поменьше, в ней выращивали шимпанзе, а вторая — новая, ее еще не кончили монтировать, когда в третью комнату, лазарет, перешел сам Ржевский.

Ржевским занимались два врача — один свой, Волков, рыжий, маленький, с большими губами, всегда улыбается и лезет со своими шоколадками, второй — незнакомый, из института Циннельмана.

Какое-то нервное поле окутало институт. Даже техники и слесари, которые раньше часто сидели за кустами в парке и подолгу курили, а то и выпивали, перестали бубнить под окном. Навесили на себя серьезные физиономии, двигались деловито и даже сердито.

Мать раза два забегала вниз, будто бы повидать Ниночку. Косилась на металлическую дверь и говорила громким шепотом, а Нине было неловко перед другими лаборантками. Мать здесь была лишней, ее присутствие сразу отделяло Ниночку от остальных и превращало в ребенка, устроенного по знакомству.

Вечером дома шли бесконечные разговоры о Ржевском и его работе. Они шли кругами, с малыми вариациями. Ниночка заранее знала все, что будет сказано, она пряталась в своей комнате и старалась заниматься. Но было слышно.

Хлопает дверь холодильника — отец что-то достает оттуда.

— Что ты делаешь! — возмущается мама. — Через полчаса будем ужинать.

— Я поужинаю еще раз, — отвечает отец. — Так будешь останавливать Ржевского?

— Если у него получится, он наверняка схлопочет государственную премию. Почти гарантия. Мне Алевич говорил, — слышен голос матери.

— Лучше бы уж он на тебе женился, и дело с концом, — говорил отец.

— Я этого не хотела!

— Правильно, кисочка, я всегда был твоим идеалом.

— Ах, оставь свои глупости!

Тут Нина поднимается с дивана, откладывает математику и идет поближе к двери. Она так и не знает толком, что же произошло много лет назад. Что-то произошло, связывающее и по сей день всех этих людей. Она знает, что Ржевский предал маму и убил бедную Лизу. Ниночка привыкла за много лет к тому, что Ржевский предатель и неблагодарный человек. Раньше это ее не касалось. Ржевский никогда не приходил к ним домой. И в то же время знакомство с ним позволяет не без гордыни говорить знакомым: «Сережка Ржевский, наш старый друг...» А потом мама пристроила ее в библиотеку, и она увидела Ржевского, который оказался совсем не похож на предателя, — образ предателя складывался у нее под влиянием телевизора, а там предателей обычно играют одни и те же актеры. Ржевский был сухим, подтянутым, стройным человеком с красным лицом, голубыми глазами и пегими, плохо подстриженными волосами. На круглом подбородке был белый шрам, а руки оказались маленькими. Ржевский здоровался с ней рассеянно, словно каждый раз с трудом вспоминал, где он с ней встречался. Потом он улыбался, почти робко, наверное, помня, как много плохого Ниночка должна о нем знать. Ниночка была готова влюбиться в Ржевского, в злодея, который нес в себе тайну. Правда, Ржевский был очень старым. За сорок.

А из-за двери льются голоса родителей.

— Знаешь, а бараки сносят, — говорит мать.

— Какие бараки?

— Где он с Лизеттой жил.

## 9

Ржевский вывел очередную комиссию из лаборатории. Посидели еще немного в кабинете. Леночка принесла кофе с коржиками. Говорили о каких-то-пустяках — Струмилов обратил внимание, что на первом этаже нет решеток. Алевич воспользовался случаем и стал просить денег на ремонт, фасад никуда не годится, паркет буквально рассыпается. А если иностранные делегации? «Не спешите с иностранными делегациями», — сказал Остапенко. Хруцкий спросил о конгрессе в Брно, кого бы послать. Ржевский пил кофе, разговаривал с начальством, делая вид, что принадлежит к той же категории людей, а мысленно представлял, как идет деление первых клеток. Прямо видел, словно в поле микроскопа, как шевелятся, переливаются клетки. Главное, чтобы успели подготовить перенос...

Потом он сидел допоздна во внутренней лаборатории. Внизу лаяли собаки, потом раздался звон. Ржевский понял, что обезьяны скучают, зовут людей — кружкой о прутья клетки.

Во внутренней лаборатории было хирургически светло. Дежурный Коля Миленков, чтобы не мешать директору, делал вид, что читает английский детектив. Он считал директора гением и потому был счастлив.

Ржевский пошел домой пешком. Он остановился возле барака, дверь была открыта. Ржевский вошел внутрь. Пахло пылью и давнишним человеческим жильем. Света не было, свет давно отключили. Ржевский зажег было спичку и понял, что это лишнее — он отлично помнил, сколько ступенек на лестнице. Он поднялся на второй этаж, и было странное ощущение, что поднимается он не в пустоту заброшенного барака, а к себе, где за дверью должна стоять, прислушиваясь к его шагам, Лиза. Откроет, смотрит и молчит. Он устало протянет ей сумку с продуктами или портфель, чтобы Поставила на столик в маленькой прихожей, и скажет: «Не сердись, Лиз, сидел в библиотеке, опоздал на электричку». Катька, спящая на топчанчике, который он сколотил сам не очень красиво, но крепко, застонет во сне, и Лиза скажет с виноватой улыбкой: «Котлеты совсем остыли, я их два раза подогревала».

Дверь была не заперта. За окном висела луна, на полу валялись старые журналы. Больше ничего. Ни одной вещи из прошлого. И обои другие.

Ржевский подошел к окну. Если ночью не спалось, он вылезал из-под одеяла и шел к окну, открывал его и курил, глядя на пустырь. Там, где теперь белые дома нового района, была черная зелень. В ней скрывалась деревня — в ту деревню Лиза бегала за молоком, когда Катька простудилась. Он вдруг насторожился. Он понял, что вот сейчас Лиза проснется — она всегда просыпалась, если он вставал ночью. «Что с тобой? Ты себя плохо чувствуешь?» — «Просто не спится». — «Просто не бывает. Ты расстроен? Тебе плохо?» — «Лет, мне хорошо. Я думаю». Он бывал с ней невежлив, он уставал от ее забот, вспышек ревности и мягких, почти робких прикосновений. «Может, тебе дать валерьянки?» — «Еще чего не хватало!»

Скрипнула ступенька на лестнице. Потом удар. Шум. Словно тот, кто поднимается сюда, неуверенно и медленно ощупывая стенку рукой, ударился об угол.

Надо бы испугаться, сказал себе Ржевский. Кто может подниматься сюда в полночь по лестнице пустого барака?

Дверь медленно начала отворяться, словно тот, кто шел сюда, не был уверен, эта ли дверь ему нужна.

Ржевский сделал шаг в сторону, чтобы не стоять на фоне окна.

## 10

Человек, вошедший в комнату, неуверенно остановился на пороге. Глаза Ржевского уже привыкли к темноте, к тому же в комнату глядела луна — он увидел, как человек шарит рукой справа по стенке, и вспомнил, сколько раз он сам протягивал туда руку и зажигал свет. Раздался щелчок.

— Ах, черт! — прошептал человек.

— Послушай, свет все равно отключен, — сказал Ржевский. — Эти бараки выселены, ты забыл, что ли?

Человек замер, прижался к стене, он не узнал голоса Ржевского и испугался так, что его рыхлое тело размазалось по стене.

— Испугался, что ли? — Ржевский пошел к Виктору, врезался ногой в кучу журналов, чуть не упал. — Это я, Сергей.

— Ты? Ты зачем здесь? — сказал Виктор хрипло. — Испугался. Никак не думал кого-нибудь встретить.

Они замолчали.

— Курить будешь? — спросил Ржевский.

— Давай закурим.

Ржевский достал сигареты. Когда Виктор прикуривал, он наклонил голову, и Ржевский увидел лысину, прикрытую зачесанными набок редкими волосами.

— Я давно тебя не видел, — сказал Ржевский.

— Ну, я пошел, — сказал Виктор.

Ржевский кивнул. Ему тоже бы уйти, но не хотелось идти по ночной улице с Виктором. Ботинки Виктора тяжело давили на ступеньки. Лестница ухала. Потом все смолкло.

Наверное, Эльза сказала ему, что бараки сносят, подумал Ржевский. А может быть, Виктор приходил сюда и раньше? Его, Ржевского, тянет прошлое, как убийцу, который приходит на место преступления. Тут его и ловят. И Виктор его ловил? Нет. Он сам пришел. Ржевский закрыл глаза и постарался представить себе комнату, какой она была тогда. Он заставлял себя расставить мебель, положил мысленно на стол свои книги и даже вспомнил, что настольную лампу накрывали старым платком, чтобы свет не мешал Катьке. А Лиза лежала в полутьме и смотрела ему в спину. Он знал, что она смотрит ему в спину, стараясь не кашлять и не ворочаться. А ему этот взгляд мешал работать. И он тихо говорил: «Спи, тебе завтра вставать рано». — «Хорошо,

— отвечала Лиза, — конечно. Сейчас засну».

В то последнее утро они заснули часов в пять, на рассвете, прошептавшись всю ночь, а потом он открыл глаза и, как в продолжении кошмара, увидел, что она стоит в дверях, держа за руку тепло одетую Катьку, с чемоданом в другой руке. Он тогда еще не осознал, что Лиза уходит навсегда, но в том, что она уходит, было облегчение, разрешение тупика, какой-то выход. И он заснул...

Ржевский открыл глаза. Свежий ночной ветер вбежал в окно через разбитую створку и зашуршал бумагой на полу.

Ржевский выкинул сигарету в окно и спустился вниз. Его одолела такая смертельная, глубокая, безнадежная тоска, что, когда он увидел — неподалеку, за деревом, стоит и ждет Виктор, замер, не выходя наружу, а потом дождался, когда Виктор зажег спичку, снова закуривая, выскочил из подъезда и скользнул вдоль стены, за угол, в кусты.

## 11

Нине очень хотелось заглянуть во внутреннюю лабораторию — центр, вокруг которого уже шестую неделю концентрировалась жизнь института. Но никак не получалось. Туда имели доступ только пять или шесть человек, не считая Ржевского и Остапенко из президиума. Правда, раза три приезжали какие-то друзья Ржевского, седые, солидные. Коля Миленков их, конечно, всех знал — академик такой-то, академик такой-то... Этих Ржевский сам заводил внутрь, и они застревали там надолго.

— Понимаешь, Миленков, — сказала Ниночка, которая к Коле привыкла и уже совсем не боялась. — Это для меня — как дверь в замке Синей Бороды. Помнишь?

— Помню. Тебе хочется бесславно завершить молодую жизнь. Ты понимаешь, что Синяя Борода нас обоих тут же вышвырнет из института. А у меня докторская в перспективе.

Самого Ржевского, хоть она и видела его теперь каждый день и он уже привык считать ее своей, не дочкой Эльзы, а сотрудницей, даже как-то прикрикнул на нее, — понимаете разницу? — Ниночка попросить не осмеливалась. Он был злой, дерганый, нападал на людей почем зря, но на него не обижались, сочувствовали — ведь это у них в институте, а не где-нибудь в Швейцарии рос в биованне первый искусственный человек.

В конце концов Ниночка проникла в лабораторию.

Был вечер, уже темно и как-то тягостно. Деревья за окнами почти облетели, один желтый кленовый лист прилип к стеклу, и это было красиво. Коля вышел из внутренней лаборатории, увидел Ниночку, которая сидела за своим столом с книжкой, и спросил:

— Ты чего не ушла?

— Я Веру подменяю. Мне все равно домой не хочется. Я занимаюсь.

— Я до магазина добегу, а то закроется. На углу. Минералочки куплю. Ты сиди, поглядывай на пульт. Ничего случиться не должно.

Ниночка кивнула. Внешний контрольный пульт занимал полстены. Ржевский еще давно, в сентябре, заставил всех лаборантов разобраться в этих шкалах и циферблатах. На всякий случай.

— Главное, — сказал Коля, — температура бульона, ну и, конечно...

— Я знаю, — сказала Ниночка и почувствовала, что краснеет. У нее была тонкая, очень белая, легко краснеющая кожа.

— Я не закрываю, — сказал Коля. — Одна нога здесь, другая там. Но ты туда не суйся... — И, выходя уже, добавил: — Восьмая жена Синей Бороды.

Ниночка встала и пошла к пульту. Там, внутри, ничего неожиданного не происходило. А если произойдет, такой трезвон пойдет по институту! Так было на прошлой неделе, когда повысилась кислотность. К счастью, Ржевского в институте не было, а когда он приехал, все уже обошлось.

Ниночка прошлась по комнате. В институте было очень тихо. Желтый лист на стекле вздрагивал и, видно, собирался улететь.

— Если улетит, — сказала Ниночка, — я загляну. Краем глаза.

Конец листа оторвался от стекла. Ниночка напряглась, испугалась, что он улетит и придется заглядывать. Но капли дождя прибили лист к стеклу снова. Он замер.

Тогда Ниночка подумала, что скоро Коля вернется. Она подошла к двери и легонько тронула ее. Может, дверь и не откроется. Дверь открылась. Легко, беззвучно.

Переходник был ярко освещен, дверь направо, в инкубатор, чуть приоткрыта. Каблучки Ниночки быстро простучали по плиткам пола. В шкафу висели халаты. Из рукомойника капала вода. Ниночка замерла перед дверью, прислушалась. Тихо. Даже слишком.

Только жужжали по-электрически какие-то приборы. Из-за двери пробивался мягкий свет.

Нина приоткрыла дверь и скользнула внутрь.

Почему-то сначала она увидела мягкий черный диван и на нем открытую книгу и половинку яблока. Там должен был сидеть Коля Миленков. У дивана на столике стояла обыкновенная настольная лампа. Одна ванна была пустая, большая, совершенно как египетский саркофаг с выставки. Или как подводная лодка. Все таинство происходило во второй ванне, поменьше, утопленной в полу и, к сожалению, совершенно непрозрачной. То есть крышка была прозрачной, но внутри — желтоватая мутная жидкость. Ниночка наклонилась к ванне, но все равно ничего не смогла различить, и тогда она потрогала ее стеклянный гладкий бок. Бок был теплым. Ее прикосновение вызвало реакцию приборов. Они перемигнулись, гудение усилилось, словно шмель подлетел поближе, к самому уху. Ниночка отдернула руку, и тут дверь открылась и вошел Ржевский. Ниночка думала, что это Коля, и даже успела сказать:

— Коля, не сердись...

И замолчала, прижав к груди руку, как будто на ней отпечатался след прикосновения к ванне.

— Ты что тут делаешь? — Ржевский сначала даже не удивился, прошел к приборам, повернулся к Нине спиной, и она стала продвигаться к двери, понимая, что это глупо.

— Меня Коля попросил побыть, пока он за водой сходит, — сказала Нина.

— Попросил? Побыть? — Ржевский резко обернулся. — Как он посмел? Оставить все на девчонку! Несмышленыша! Ты чего трогала?

И Ниночке показалось, что он ее сейчас убьет.

— Не трогала.

— Почему улыбаешься?

— Я не улыбаюсь, барон.

— Кто?

— Синяя Борода. Или он был герцог?

Ржевский прислушался к жужжанию шмеля, потом ладонью рубанул по кнопке, и жужжание уменьшилось.

Видно, понял, в чем дело, и сам улыбнулся.

— Мне было очень интересно, — сказала Ниночка. — Простите, Сергей Андреевич. Я все понимаю, но обидно, когда я каждый день сижу там, за стенкой, а сюда нельзя.

— Это не прихоть, — сказал Ржевский. — Как ребенок... Синяя Борода. Чепуха какая-то.

— Чепуха, — быстро согласилась Ниночка. — Это очень похоже на саркофаг. Только фараона не видно.

— Даже если бы ты и увидела, ничего бы не поняла, — сказал Ржевский. — Процесс строительства тела идет иначе, чем в природе. Совсем иначе. Куда приятнее увидеть младенца, чем то, что лежит здесь. Послезавтра будет большое переселение. — Ржевский постучал костяшками пальцев по большому пустому саркофагу. — И попрошу больше сюда не соваться. Ты вошла сюда в обычном халате — не человек, а скопище бактерий.

Нет, он не сердился. Какое счастье, что он не сердился!

— Но тут все закрыто герметически, я же знаю, — сказала Ниночка.

— А я не могу рисковать. Я двадцать лет шел к этому. Неудачи мне не простят.

— К вам так хорошо относятся в президиуме.

— Наслушалась институтских сплетен — «хорошо относятся». Хорошо относятся к победителям. Остапенко тоже рискует, поддерживая нас. Ты знаешь, как принято говорить? Поработайте еще лет пять с крысами... ну, если хотите, с обезьянами, удивительные эксперименты... великий шаг вперед! Но опасно! Рискованно! Триумф генной инженерии, создали гомункулуса! А если вы — наш, советский Франкенштейн? Ты знаешь, кто такой был Франкенштейн? И что он создал?

Ржевский сел на Колин диван, повернул книгу обложкой к себе, рассеянно полистал.

— Да, я слышала, — сказала Ниночка голосом отличницы. — Он сшил из трупов человека, а тот потом нападал на женщин. Но ведь вы же выращиваете своего по биологическим законам...

— Супротив законов... — Ржевский отложил книжку. — Супротив всех законов. Неужели ты этого не знаешь? А ты лезешь сюда с немытыми руками.

— Я больше не буду.

Нина понимала, что надо уйти. Но уйти было жалко. И жалко было Ржевского — он побледнел, осунулся, ему все это дорого обходится.

— У вас еще не было детей, — сказала Ниночка непроизвольно, сама удивилась, услышав свой голос. — Теперь будет.

— Ты о нем?

— Разумеется. Конечно, лучше, если бы у вас уже были свои дети, но для начала можно и так.

— С ума сойти! — удивился Ржевский. — А ну, марш отсюда!

## 12

Иван родился 21 ноября в шесть часов вечера.

Никто не уходил из института — хоть и не объявляли о конце эксперимента. Ждали. Ржевский три дня буквально не выходил из внутренней лаборатории, а Ниночка по очереди с другими девушками покупала и готовила тем, кто был внутри, еду. Они выбегали на несколько минут, что-то перехватывали и исчезали вновь за дверью переходника.

С утра в тот день в институте появились новые люди — медики. Потом два раза приезжал Остапенко и один из тех, старых академиков. В кабинете директора все время звонил телефон, но Леночка имела жесткие инструкции — Ржевского не звать, ничего ему не передавать, даже если начнется землетрясение.

Ниночка сама не пошла обедать, какой уж там обед. Мысли ее были внутри, за дверьми. Этот мальчик, гомункулус, чудовище Франкенштейна... вот он повернулся, вот он старается открыть глаза, и слабый хриплый стон вырывается между синих губ. Или сейчас прервалось дыхание — Ржевский начинает массировать сердце... Она недостаточно разбиралась в вынесенных на пульт во внешней лаборатории показаниях приборов. У пульта толпились биологи из других лабораторий и вели себя так, словно смотрели футбол.

В шесть часов с минутами кто-то из молодых талантов, глядя на мельтешню зеленых кривых на экранах, сказал: «Вот и ладушки», — и хлопнул в ладоши. Они все заговорили, заспорили, стали глядеть на дверь, и Ниночке почему-то показалось, что Ржевский должен выйти с Ним.

Ржевский долго не выходил, а вышел вместе с одним из медиков. И все. Ниночка не могла разглядеть Ржевского за спинами высоких молодых талантов

— в этой толпе его и унесло в коридор, и лишь раз его усталый голос поднялся над другими голосами: «У кого-нибудь есть сигареты без фильтра?» Ниночка почувствовала, что смертельно устала, но не могла не смотреть на дверь во внутреннюю лабораторию, потому что Он мог выйти сам по себе, забытый и неконтролируемый. А когда вышел покурить и Коля Миленков, она не выдержала и спросила его тихо, чтобы не услышали и не засмеялись:

— Он ходит? Он говорит?

— Будет ходить, — сказал Коля самодовольно.

Потом вернулся Ржевский и потребовал у Фалеевой графики дежурств лаборанток. Он сидел за столом, Ниночка подошла к нему поближе, и ей казалось очень трогательным, что волосы на затылке у Ржевского редкие, мягкие и хочется их погладить.

— В ближайшие недели, — сказал Ржевский Фалеевой, но слышали все, — с ним должны дежурить сиделки. Я договорился с Циннельманом, но у них плохо с младшим персоналом. Сестры будут, а вот в помощь им хотелось бы позвать кого-нибудь из наших. Есть добровольцы?

Ржевский оглянулся.

— Конечно, есть, — сказала Фалеева. Но никто не отозвался, потому что девушки вдруг испугались.

Оробел даже Юра, лаборант, который занимается штангой. И больше всех испугалась Ниночка. И потому сказала тонким голосом:

— Можно, я?

— Конечно, — сказал Ржевский, который, видно, совсем не боялся за судьбу Ниночки. — А еще кто?

Тогда вызвались Юра и сама Фалеева.

## 13

Вокруг темнота и глухота, темнота и глухота, но темнота не бесконечна, только нужно из нее выкарабкаться и знать, куда ползти сквозь нее, а никто не может сказать, куда надо ползти, и если поползешь не туда, то попадешь в колодец; это еще не колодец, а понятие, для которого нет слова, место, куда падают, падают, падают, и тело становится громоздким и все растет, оно больше, чем пределы колодца, но не касается, они отодвигаются быстрее, чтобы пропустить его в бездну.

И он не знает, что это значит, хотя должен знать, иначе не выбраться из темноты...

## 14

Ниночка пришла домой в девятом часу. Родители были на кухне. Отец читал «Советский спорт». Мать рубила капусту.

— Что так поздно? — спросил отец мирно, как будто с облегчением.

— Мы так устали... — и Ниночка замолчала. Когда она шла домой, то не знала, что сделает, вбежит ли с криком: «Он родился!» — или просто ляжет спать.

— Наверное, устала, — сказал отец, чуть раскачиваясь... — Каждый день приходила чуть ли не ночью... Теперь хоть будешь дома сидеть.

— Нет, — сказала Ниночка. — Теперь будет еще больше работы. Меня назначили дежурить с Ним.

— С кем? — спросила мать, и нож повис в воздухе.

— С Иваном. Его зовут Иваном, ты знаешь?

— Я ничего не знаю, — сказала мать. — Я ушла раньше. Иван — это его детище?

В слове «детище» было отношение к новорожденному. Плохое.

— Я буду дежурить у него.

— Господи, — сказала мать. — Возле этого чудовища? Одна?

— Он не чудовище. Это сын Ржевского. Понимаешь, биологически он сын Ржевского, он выращен из его клетки.

Мать бросила нож, он отскочил от доски и упал на пол. Никто не стал поднимать.

— Он убийца! — закричала мать. — Он убил Лизу! Он убивает все, к чему прикасается. Он затеял всю эту историю из патологического желания доказать мне, что у него может быть ребенок.

Ниночке бы уйти, она всегда уходила от таких сцен, но теперь все относившееся к Ржевскому слишком ее интересовало.

— Какая Лиза? — спросила Ниночка.

Мать подобрала нож и сказала, будто не услышала:

— Я категорически, — она подчеркнула свои слова ножом, — против того, чтобы Нина приближалась к этому ублюдку. Если нужно, я дойду до самого верха. Я не оставлю камня на камне.

И тогда Ниночка убежала из дома. Было темно и зябко. У нее был домашний телефон Ржевского, она списала его дома, из телефонной книжки. Она зашла в будку автомата, еще не думая, что будет звонить, — просто освещенная изнутри желтой лампой будка была теплым и уютным местом, чтобы спрятаться. А потом она набрала номер Ржевского.

Поняв по голосу, что разбудила директора института, Нина хотела было уже бросить трубку, но не успела.

Он строго спросил:

— Кто говорит?

И она не посмела скрыться.

— Простите, я не хотела вас будить. Это Нина Гулинская.

— Что-нибудь случилось? Ты из института?

— Нет, я пошла домой, а потом поругалась с мамой, то есть не поругалась, а просто ушла от них.

— Тогда не плачь, — сказал Ржевский. — Ничего особенного не произошло.

— Она мне не разрешает, а я хочу. Я уйду от них, если она не разрешит...

— Ты из автомата?

— Да.

— Тогда приезжай ко мне. Адрес запомнишь?

— У меня есть. Я давно еще списала... Но уже поздно, и вам надо спать.

— Если не ко мне, то куда пойдешь?

— Не знаю.

— Вытри глаза и приезжай. — В голосе Ржевского ей послышалась насмешка, и она сухо сказала:

— Нет, спасибо...

Не поедет она за сочувствием...

Потом Нина прошла еще две или три улицы, позвонила подруге Симочке, сообщила, что приедет к ней ночевать, и поехала к Ржевскому.

## 15

Квартира Ржевского разочаровала Ниночку. Она часто представляла, как он живет, совсем один, и ей казалось, что его мир — завал книг, рукописи горой на столе, обязательно большое черное кожаное кресло, картина Левитана на стене — неустроенный уют великого человека. А квартира оказалась маленькой, двухкомнатной, аккуратной и скучной.

— Я кофе собирался выпить, — сказал Ржевский. Он был в джинсах и свитере. — Будешь?

— Спасибо.

Он пошел на кухню, а Ниночка осталась стоять возле чистого письменного стола, огляделась, увидела широкий диван и подумала: «К нему, наверное, приходят женщины. Приходят, а он им делает кофе и потом достает вот оттуда, из бара в стенке, коньяк. А вдруг он смотрит на меня как на женщину?» Ниночка испугалась собственной мысли, которая происходила оттого, что в глубине души ей хотелось, чтобы он видел в ней женщину.

— Сосиски сварить? — спросил Ржевский из кухни.

Ниночка подошла к двери на кухню, заглянула. Кухня была в меру чиста и небогата посудой.

— Спасибо. Я не хочу есть. А вам кто-нибудь помогает убирать?

— Вызываю молодицу из фирмы «Заря», окна мыть. Держи печенье и конфеты. Поставь на столик у дивана.

«Он совершенно не видит во мне женщины», — поняла Ниночка. Это было обидно. Ее не разубедило в этом даже то, что Ржевский достал все-таки из бара бутылку коньяка и две маленькие рюмочки. Кофе был очень ароматный и крепкий — такой умеют делать только взрослые мужчины.

— Давай выпьем с тобой за первый шаг, — сказал Ржевский.

Он капнул коньяку в рюмки, и Ниночка устроилась удобнее на диване. Она поняла, что они коллеги и они обсуждают эксперимент. К тому же они знакомы домами. Видела бы мама, что она пьет коньяк с директором института. А какое бы лицо было у Фалеевой? Правда, репутация директора погибла бы безвозвратно. Ниночка хотела было сказать Ржевскому, что никому не скажет о своем ночном визите, но он ее опередил:

— Рассказывай, что дома приключилось.

— Они все взбунтовались. Мать не разрешает мне с Иваном работать. Говорит, что он ублюдок. Вы не обижайтесь.

— Я твою маму знаю много лет и знаю, какой она бывает во гневе.

— Она отойдет, вы же знаете, она быстро отходит.

— Не совсем так. Она мирится внешне, а так, без Каноссы, прощения не добиться.

— Без Каноссы?

— Вас, голубушка, плохо учат в школе.

Ниночка заметила, что в углу стоят горные лыжи, очень хорошие иностранные горные лыжи, им не место в комнате, но кто скажет Ржевскому, что можно ставить в комнату, а что нет.

Ниночка кивнула, согласившись, что ее плохо учили в школе.

— Что же теперь будем делать? Перевести тебя в другую лабораторию? — спросил он.

— Что вы! — испугалась Ниночка. — Разве я плохо работала?

— Я к тебе не имею претензий. Но, может, ты и сама его боишься?

Ниночка покачала отрицательно головой. Сказать, что совсем не боится, было бы неправдой.

Ржевский поднялся с кресла, подошел к окну, приоткрыл его — оттуда донесся неровный, прерывистый вечерний шум большой улицы.

— Тебе не холодно?

— Нет. Вы не думайте, что я боюсь. Но ведь это первый... первый такой человек.

— Но не последний, — сказал Ржевский. — Твоя мама выражает мнение весьма существенной части человечества... Есть какие-то вещи, которые человеку делать положено, а какие-то — нет. Например, положено создавать себе подобных ортодоксальным путем.

«Зачем он говорит со мной, как с девочкой? — подумала Нина. — Как будто тайны жизни для меня закрыты на замок».

Она взяла бутылку коньяка, налила себе в рюмку, потом Ржевскому.

Тот поглядел на нее внимательно, улыбнулся уголками губ, взял бутылку и отнес ее на место, в бар. Закрыл бар и сказал:

— Так мы с тобой сопьемся.

Ниночка одним глотком выпила рюмку. Коньяк был горячим и мягким. И зачем она только пришла сюда?

Ниночка увидела, что у Ржевского оторвана пуговица на рубашке. Никогда Ниночке не приходило в голову смотреть на пуговицы своих сверстников. Она отлично умеет пришивать пуговицы. Но нельзя же сказать ему: я хочу пришить тебе пуговицу, дядя Сережа.

— Лет двадцать пять назад... — вдруг Ржевский замолчал. И Ниночка поняла, что он вспомнил о той Лизе, которую убил. Именно тогда. Они дружили — мать, отец и Ржевский. Ржевский хотел жениться на матери, а она предпочла ему отца — об этом Ниночка знала давно, из шумных сцен на кухне, когда мать кричала отцу: «Если бы я тогда вышла за Ржевского, мы бы не прозябали!»

Ржевский нахмурился, будто с трудом вспомнил, на чем остановился.

— Тебе не пора домой?

— Нет, я часто от них убегаю. Они думают, что я ночую у Симы Милославской.

— Может, позвонишь?

Ниночка отрицательно покачала головой.

— Двадцать пять лет. Ты думаешь, это много? Оказывается, я помню, сколько там ступенек, и помню слова, которые там говорились. Как вчера. А память у меня совсем не фотографическая. Просто все это было недавно... Двадцать пять лет назад я резал планарий, глядел в микроскоп и читал. И обо мне говорили, что я перспективен, говорили без зависти, потому что я казался фантазером. Даже когда американцы активно занялись тем же. Наверное, внутри моих друзей и оппонентов сидел религиозный запрет «Богу — богово», хотя они были убежденными атеистами. А теперь клонирование стало обыденностью. Родились первые настоящие здоровые младенцы, весь генетический материал которых — искусственно выращенная клетка отца. Старшему в Японии сейчас...

— Три года, — сказала Ниночка.

— Спасибо. Три года. А он и не подозревает, что чудовище. Растет, пьет молочко, говорит свои первые слова... Никогда не доверяй банальным истинам... Сделали самого обыкновенного человека. Самого обыкновенного, просто нестандартным способом. А теперь сделали еще шаг дальше и получили человека сразу взрослым. Избавили Ивана от долгих и непроизводительных лет детства. Ты еще кофе будешь?

— Нет, спасибо.

— А я себе сделаю.

Ржевский пошел на кухню, поставил кофе. Ниночка поднялась с дивана, подошла к окну — видно, прошел дождь, она не заметила, когда он был, и машины отражались огоньками в черном мокром асфальте.

— Почему ты мне не возражаешь? — спросил Ржевский громко из кухни. — Мне все возражают.

— Вы думаете, хорошо, что у него не было детства?

— А что хорошего в детстве? Учеба, учеба... все тебе приказывают, все тебе запрещают. Хотела бы ты снова прожить детство?

— Не знаю. Наверное, нет. Но я его уже прожила.

Ржевский маленькими глотками отхлебывал кофе. Ниночка молчала. Что-то в этом было неправильно. По отношению к Ивану. Но она не могла сформулировать свое сомнение.

— Вы уверены? — спросила она.

— В чем?

— В том, что он вас поймет?

— Если он будет спорить со мной, я это буду приветствовать. Знаешь, почему?

— Нет.

— Да потому, что я сам все с собой спорю. Нет больших оппонентов, чем самые близкие люди. А он не только близок мне, он продолжение меня. Я дошел до своей вершины, и теперь, хочу того или нет, пришло время идти вниз. Я постараюсь сделать это как можно медленнее, но процесс остановить невозможно... Невозможно? А вот возможно! Возможно, понимаешь, девочка?

— Почему вы выбрали себя в отцы?

— Чувствую, что об этом тоже говорили у Эльзы на кухне — в центре вселенной. И меня там осудили и за это тоже.

Ниночка не ответила.

— Кого бы ты предложила на мое место? Алевича? Остапенко? Безымянного добровольца? Ну?

— Нет, я понимаю... — сказала Ниночка виновато, словно это она, а не мать осуждала Ржевского.

— Ни черта ты не понимаешь. Ты думаешь, потому что я считаю себя умнее и талантливее их? Нет, просто я знаю об эксперименте больше остальных. Значит, в общих интересах, чтобы сын, как и я, был в курсе всех дел. Какого черта я буду тратить время на то, чтобы понять не только искусственного сына товарища Остапенко, но и самого товарища Остапенко! А если я их обоих не понимаю, то могу проглядеть что-то очень важное для эксперимента.

— А себя вы понимаете? — осмелилась спросить Ниночка. Она вдруг догадалась, что Ржевский оправдывается. Перед ней и перед собой.

— Я? — Ржевский засмеялся. — Я тебя заговорил. Прости. Сколько времени? Двенадцатый час? Пошли, я тебя провожу. Мне тоже полезно вдохнуть свежего воздуха.

## 16

Я ощущаю одиночество, в котором оживает мое тело. У меня есть руки, они растут из плеч, они длинные и на концах имеют тонкие отростки, которые растут из воздуха, а как называются эти отростки, мы еще не знаем. У меня есть ноги, у них тоже отростки на концах. Лиза их называла, но неизвестно, что такое Лиза... Если бы еще знать, как забывают вещи... они забывают, а нам нельзя. И снова падение вниз, в колодец, хотя теперь в нем есть смысл

— смысл в осознании того, что отростки называются пальцами. Но как трудно дышать, а сквозь стену, вместо того чтобы показать путь наружу, говорят о содержании адреналина... Великан Адреналин придет, когда мама будет купать тебя в тазике... Что такое мама? Это теплота и тишина...

## 17

На улице было свежо и приятно. Ржевский поддержал Ниночку под локоть, когда они переходили улицу, и Ниночка с трудом удержалась, чтоб не прижать локтем его руку. Еле-еле удержалась. Он бы засмеялся. И это было бы невыносимо.

Они подошли к остановке — Ниночка отказалась взять у Ржевского деньги на такси. Автобуса долго не было. Ржевский закурил и заговорил снова, не глядя на Ниночку:

— Что такое смерть? Это не только прекращение функционирования тела. Люди всегда, в любой религии, мирились с гибелью тела. Но никак не могли примириться, что с каждым человеком умирает мир мыслей, памяти, чувств. Поэтому одни люди придумали бессмертную душу. Другие придумали перевоплощение, возрождение этой же самой сущности, сотканной из мыслей и памяти, в ином существе. Так вот, я-то со временем помру. А в том, молодом человеке, который сейчас медленно входит в жизнь, мои мысли уже оживают. А пройдет еще тридцать лет, и он, Иван, создаст таким же образом своего сына, своего духовного наследника и передаст ему не только свои, но и мои мысли. Накопленные почти за столетие. Ты представляешь, что через двести, триста лет на Земле будет несколько сотен тысяч, не знаю сколько, гениев, вобравших в себя опыт и мысли нескольких поколений, людей с пятью, шестью, десятью душами...

— Души будут одинаковые, — сказала Ниночка. — Это страшно.

— А мне — нет, — сказал Ржевский буднично. И выбросил сигарету. Она красной звездочкой долетела до лужи у тротуара, пшикнула и исчезла.

— И чувства? — спросила Ниночка. — Чувства нескольких поколений?

Ржевский не ответил. Он увидел свободное такси и поднял руку.

— Нина, заглянем на пять минут в институт? Посмотрим, как идут там дела, а? И потом я отвезу тебя к подруге Симочке.

— Конечно, — сказала Нина и вся сжалась, будто ей неожиданно и раньше времени предложили пойти к зубному врачу.

Ржевский сел в машине подальше от нее, и она вдруг поняла, почему — он стеснялся шофера. Он не хотел, чтобы тот подумал: такой пожилой человек, а держит в любовницах этакое юное создание.

Они ехали минут пять молча. Потом Ржевский сказал:

— Я благодарен тебе, что пришла. Мне надо было перед кем-то излиться. Перед кем-то, кто ближе мне, чем просто коллеги.

— Ну что ж, — сказала Ниночка и стала думать, почему он выделяет ее из других. Из-за бывшей дружбы с ее родителями? Или из-за нее самой?

Со стороны фасада в институте горели лишь два окна — в дежурке. Окна лаборатории выходили в сад. Сторож долго не хотел открывать дверь, но, открыв, не удивился — только начал ворчать, что теперь все с ума посходили, превратили день в ночь, и никому от этого не лучше.

Они прошли слабо освещенным коридором до лаборатории. Во внешнем зале сидел лаборант Юра и крутил ручки приемника.

— Потише, — сказал ему Ржевский.

— Там не слышно, — сказал Юрочка, но сделал музыку почти неслышной. Он глядел на Ниночку. Почему она пришла ночью?

Ржевский подтолкнул Ниночку в переходник. Там заставил вымыть руки гадко пахнущей жидкостью, помог надеть халат, протянул маску. Делал все это быстро, нервно, спешил.

Потом позвонил в дверь внутренней лаборатории. Откинулся глазок. Дверь открылась.

Внутри все изменилось. Пропали саркофаги. Ниночка не заметила почему-то, как их демонтировали и выносили. Зато туда внесли кровать. Почти обыкновенную кровать. Больничную. Около нее стояли капельница и небольшой пульт. Человек на кровати спал. Его лицо Ниночку разочаровало. Оно было гладким, бледным. Пшеничные волосы росли короткой щетиной. Руки безвольно лежали вдоль тела на простыне. Человек, дежуривший у пульта, встал и начал что-то шептать Ржевскому. Ржевский слушал его внимательно, но глядел на Ивана. Медсестра, сидевшая по ту сторону кровати, на черном диване, который остался еще с тех времен, когда никакого Ивана здесь не было, щурилась спросонья.

Ниночка искала в лице молодого человека сходство с Ржевским. Конечно, это сходство было. Такой же нос, форма подбородка... Интересно, а какие у него глаза?

Молодой человек словно услышал ее вопрос. Руки его шевельнулись. Он медленно открыл глаза. Глаза Ржевского. Он посмотрел на Нину, но как-то лениво, вяло, словно и не хотел смотреть. Он ее не узнал.

## 18

Одним из первых, если не первым, собственным, настоящим воспоминанием Ивана было такое:

Он просыпается ночью. После очень долгого сна, и сон еще не ушел, он лишь на мгновение отпустил его... И видит, что над его кроватью в полутьме стоит тонкая глазастая девушка с пышными темными волосами и испуганно смотрит на него, будто он привиделся ей в кошмаре. Лицо девушки ему знакомо, но очень трудно сосредоточиться и вспомнить, откуда он ее знает, потом девушка отступает куда-то, и в этот момент он понимает, что приходила Нина, Ниночка, Эльзина дочь, хотя он совершенно не представляет, что значит этот набор букв — Эль-за...

Потом Иван очнулся снова, было утро, и в щель задернутой шторы пробивалось солнце, совсем такое же, как когда они с Лизой и Катей жили под Каунасом, в деревне, и он не спешил просыпаться, он ждал, пока Лиза первой вскочит с кровати, побежит, стуча босыми пятками по блестящим доскам пола, к окну и одним резким движением раздвинет шторы, словно разорвет их, и горячий куб солнечного света, заполненный, как аквариум рыбками, ажурной тенью листвы, ввалится в комнату...

В лаборатории была Ниночка. Она сидела в уголке и переписывала какую-то бумагу, склонив голову, иногда высовывая розовый язычок — быстро, по-змеиному, чтобы убрать им прядь волос. Странно, что он никогда раньше не замечал Нину. Она уже полгода в институте и с ним почти не встречается, а впрочем, зачем? И если он перевел ее в лабораторию, то только по просьбе Эльзы, которой было неприятно его просить, но просить приходилось потому, что матерям положено заботиться о своих детях и страдать ради них. Но почему Ниночка здесь?

Вслед за тем пришло понимание, что он болен. Он не знал, когда и чем заболел, но заболел серьезно, иначе бы его не поместили в эту палату. Тут же возникло новое воспоминание — воспоминания проявлялись, как изображение на фотобумаге, в бачке: в красном неверном свете неизвестно было, какой образ следующим возникнет на белом листе.

Воспоминание было неприятным и тревожащим — с ним надо было разобраться, понять, а понять его было нельзя, ибо оно заключалось в том, что он, Сергей Ржевский, лежащий здесь, в своей собственной внутренней лаборатории, вовсе не Сергей Ржевский, а кто-то другой, еще не имеющий имени, а потому неправильный, несуществующий человек, которого можно прекратить так же, как его начали, и невозможность осознать все это таилась в том, что начал его тот же Сергей Ржевский, то есть он сам, который существует сейчас вне его...

Тут же эти мысли прервались — он услышал взволнованные голоса, полная женщина в белом халате, которую он не знал, быстро заговорила о стрессе, молодой человек — знакомое лицо... он у нас работает техником? — что-то начал делать с приборами. Тут же был укол, короткая боль и скольжение на санках в небытие.

В это небытие проникали голоса извне. И он узнал, что о нем говорят как о Иване, и ему все время, без возмущения, без тревоги, тупо и спокойно хотелось поправить говоривших в сказать, что они ошибаются, что он — Сергей Ржевский, хотя он и сам знает, что называться Сергеем Ржевским не имеет никакого права, потому что Сергей Ржевский его придумал и сделал.

И когда он очнулся вновь, на следующее утро, он уже осознал и пережил свое отделение от Ржевского, свою самобытность и ничуть не удивился, когда Сергей Ржевский, сидевший у его кровати и следивший по приборам за моментом его пробуждения, сказал:

— Доброе утро, Иван. Мне хочется с тобой поговорить.

Иван прикрыл глаза, открыл их снова, показал, что согласен слушать.

## 19

— Здравствуй, Иван, — сказала Ниночка, как всегда, вбежав в лабораторию, и, как всегда, Ивану показалось, что ее принесло свежим ветром. — Ты уже обедал? А я не успела — заскочила в буфет, а там дикая очередь, представляешь?

Иван кивнул. Он сразу вспомнил, какие очереди бывают в буфете, и ему захотелось сейчас же позвать Алевича и напомнить ему, что старик уже трижды обещал отдать буфету соседнюю комнату. Иван тряхнул головой, как всегда, когда отгонял лишние, чужие мысли — этого жеста у его отца не было.

— Съешь курицу, — сказал он. — Я все равно не хочу.

Мария Степановна, медсестра, укоризненно вздохнула. Она не терпела фамильярностей пациентов с персоналом. Ниночка была персоналом, а Иван — пациентом. От этого никуда не денешься — в этом заключается порядок, единственное, за что можно ухватиться в этом сумасшедшем доме.

— Правильно, — сказала Ниночка. — А ты в самом деле сыт?

— Меня кормят, словно я член олимпийской сборной по тяжелой атлетике, — сказал Иван.

Нина принялась за курицу. Иван смотрел в окно. В этом году снег выпал рано, может быть, он еще растает, но лучше бы уж улегся и кончились эти дожди. Иван подумал, как давно не вставал на лыжи, и, подумав, тряхнул головой, а Нина, заметив этот жест, хмыкнула и сказала:

— Я знаю, о чем ты подумал. Ты подумал: как хорошо бы покататься на лыжах.

— Как ты догадалась?

— Я телепатка. А в самом деле, я сегодня так подумала — почему бы не подумать тебе? Ты умеешь на лыжах кататься?

— Умел, — сказал Иван.

— Я отлучусь, — сказала Мария Степановна. — Через полчаса приду.

— А вы совсем идите домой, — сказал Иван. — Чего меня беречь? Я здоров как бык.

— Многие люди кажутся здоровыми. Производят впечатление. — В голосе Марии Степановны было осуждение, разоблачение жалкой хитрости пациента.

Иван смотрел на свои руки. Руки как руки. Очень похожие на руки Сергея Ржевского. Только у того пальцы расширились в суставах, стали толще, а по тыльной стороне ладони пошли веснушками.

Иван смотрел на свои руки с удивлением, как на чужие. Ниночка шустро обгладывала ножку курицы и искоса поглядывала на него. Она всегда старалась угадать его мысли и часто угадывала. Ниночка за эти дни поняла, как Иван старается познать мир своими глазами, своими ощущениями, как он старается вычлениться из старшего Ржевского, отделить всю массу опыта и памяти отца от микроскопического, ограниченного стенами внутренней лаборатории и несколькими лицами собственного опыта. Он так ждет меня и так любит со мной говорить, думала Ниночка, потому, что я несу ему крошки его собственной жизни. Они обязательно будут ссориться с Сергеем Андреевичем. Представляю, что бы я сказала маме, если бы узнала, что она за меня ходила в школу.

Звякнул зуммер, оборвался. Техник включил селектор.

Ржевский просил Нину Гулинскую заглянуть к нему.

— Сейчас, — сказала Ниночка, вытирая губы. — Сейчас приду.

Иван посмотрел ей вслед. С ревностью? Как смешно!

Ниночка бежала по коридору и рассуждала: почему она больше не робеет перед Сергеем Ржевским? Такая разница в возрасте и во всем. Просто пропасть. Алевич и тот робеет перед Ржевским. Даже Остапенко иногда. Когда исчезла робость? После ночного разговора в его квартире? И в институте Ниночка уже не была мелким человеком, бегающим по коридорам, — она была причастна к эксперименту, на нее падал отсвет тайны и величия того, что случилось. Ведь величие, правда?

Мать стояла в коридоре, курила с незнакомым мужчиной, смеялась, сдержанно, но нервно. Мать любила, когда мужчины обращали на нее внимание, вообще говорила, что мужчины куда интереснее женщин, но настоящих поклонников у мамы не было, то ли потому, что она в самом деле не нуждалась в них, то ли потому, что они боялись ее всеобъемлющего чувства собственности. Ниночке иногда жалко было, что она родилась именно у своей мамы. Мать в суматохе гостей, в тщетном стремлении к постоянным, хоть и не очень экстравагантным развлечениям — поехать к кому-нибудь на дачу и там увидеть кого-то, а потом сказать, что она знакома с ним самим и его женой, которая ее разочаровала, что-то купить, выразить шумное сочувствие чужой беде, — в такой суматохе мать надолго забывала о Нине, сдавала ее отцовской бабушке, которая уже умерла. Но потом у матери словно прорывало плотину — недели на две хватало безмерной любви, когда от нее продохнуть было невозможно. Уж лучше бы, как у других, — без особенных эмоций.

Мать, завидев Ниночку, бросила собеседника, близоруко сощурилась.

— Нина, ты что здесь делаешь?

Нина сразу догадалась, что мать подстерегала ее, поэтому и выбрала место в коридоре первого этажа.

— Меня Сергей Андреевич вызвал, — сказала Ниночка. — А ты?

— Я? Курю.

— Обычно ты куришь на третьем этаже.

— Я тебя не спрашиваю, где мне курить. Ты удивительно распустилась. Зачем ты понадобилась Сереже?

Ага, этим словом мать отнимает у нее Ржевского, ставит Ниночку на место. А мы его не отдадим...

— Мамочка, пойми, — Нина старалась быть ласковой, не хуже мамы, — у нас с Ржевским эксперимент.

— Ах! — сказала мама с иронией и выпустила дым. Она никогда не затягивалась. Курение для нее было одним из проявлений светской деятельности. — Ребенок без высшего образования — незаменимая помощница великого Ржевского. У тебя с ним роман?

— Мама! — Ниночка трагически покраснела. У нее был роман с Сергеем Ржевским, хотя он этого не замечал, у нее начинался роман с Иваном Ржевским, чего она еще не замечала. То есть она была вдвойне виновата, поймана на месте, разоблачена, отчего страшно рассердилась.

Ниночка бросилась бежать по коридору, мама тихо рассмеялась вслед.

Потом Эльза бросила недокуренную сигарету в форточку. Она не хотела ссориться с дочкой, она хотела попроситься в лабораторию, поглядеть на этого Ивана. Иван был, по слухам, точной копией Ржевского в молодости. Но никто, кроме нее, Эльзы, не мог подтвердить этого — она единственная в институте знала Ржевского в молодости.

Еще не все потеряно. Эльза оглянулась. Коридор пуст. Она дошла до торцевой двери. «Лаборатория *N1» — скромная черная дощечка*. Ничего страшного — все знают, что у нее там работает дочь. Может быть, директору библиотеки надо сказать кое-что дочери.

Эльза подошла к двери, замерла возле нее, чтобы собраться с духом и открыть дверь простым и уверенным движением, как это делает человек, пришедший по делу. Толкнула.

Фалеева подняла голову и сказала:

— Здравствуйте, Эльза Александровна. А Ниночка убежала к директору. Что-нибудь передать?

— Спасибо, не надо, — сказала Эльза. Надо уйти. Но глаза держат ее, уцепились за белую дверь в дальней стене.

— Скоро ваш пациент начнет ходить? — спросила Эльза, входя и закрывая за собой дверь.

— Он уже встает, — сказала Фалеева. — Но Сергей Андреевич ему еще не разрешает выходить.

— И правильно, — сказала Эльза. — Это не зоопарк. А вы его не боитесь?

— Кого? — удивилась Фалеева. — Ваню?

Как нелепо, подумала Эльза. Называть искусственного человека Ваней. Как ручного медведя.

Белая дверь изнутри резко отворилась. Оттуда быстро вышел Сережа в тренировочном синем костюме с белой полосой по рукавам и штанинам. За ним выскочила полная женщина в белом халате.

— Ты с ума сошел! — кричала она на Сережу. — Что я Ржевскому скажу?

Эльзу вдруг начало тошнить — подкатило к горлу. От страха. И в самом деле, она была единственным человеком в институте, который мог узнать молодого Ржевского. А он взглянул на нее, поздоровался кивком, словно виделся с ней только вчера. В нем была неправильность. И только когда Ржевский прошел мимо, в коридор, медсестра за ним, Эльза поняла, что Сережа был неправильно подстрижен, он никогда не стригся под бобрик.

## 20

— Мне интересны твои впечатления, — сказал Ржевский. — Они могут быть, в силу вашей близости в возрасте, уникальны.

— Я старше его, — сказала Ниночка. — На восемнадцать лет.

— Конечно, конечно, — Ржевский усмехнулся одними губами. — Но и он старше тебя на четверть века.

— Конечно. Старше. И никак не разберется в самом себе.

— Пытается разобраться?

— Пытается. У него два мира, — сказала Ниночка. — Один — в комнате. В нем есть я, сестра Мария Степановна — маленький мир. А ваш мир его гнетет.

— Насколько мой мир реален для него? Со мной он настороже.

— Я не знаю. Он еще не совсем проснулся. — Ниночка нахмурила тонкие брови, ей очень хотелось соответствовать моменту.

— Ты слышишь в нем меня?

— Ой, не знаю! Он мне сегодня курицу отдал.

— Чего?

— Я голодная была, а он мне курицу свою отдал.

— Я бы тоже так сделал. Тридцать лет назад. Правда, тогда с курицами было сложнее.

Ржевский открыл папку у себя на столе, в ней были фотографии. Фотографии старые, любительские.

— Видишь, справа я, в десятом классе. Похож?

— На кого? — спросила Ниночка.

— Значит, не разглядела... Ага, вот уже в институте.

— Да, это он, — сказала Ниночка, как у следователя, который попросил ее опознать преступника. Она взяла еще одну фотографию. На ней стояли сразу четыре знакомых человека. Молодые папа с мамой, Иван и еще одна девушка. У девушки была толстая коса. Но больше всего удивилась Ниночка тому, что мама держала на руках девочку лет трех.

— Это ее дочка. — Ржевский показал на круглолицую с толстой косой.

Он взял фотографию, хотел спрятать, потом взглянул еще раз и спросил:

— А маму ты сразу узнала?

— Она мало изменилась, — сказала Ниночка. — Она любит тискать чужих детей. Если знает, что скоро их отдаст владельцам.

— Ну и язык у тебя, — сказал Ржевский.

Телефон на столе взорвался писком — это был зеленый, внутренний телефон. Ржевский схватил трубку.

— Почему сразу не сообщили? Иди.

Он бросил трубку. Злой, губы сжаты.

— Иван ушел, — сказал. — Недосмотрели.

— Куда ушел?

— А черт его знает! За ним Мария Степановна побежала. Ну как же так! Я же ему говорил. Не на ключ же его запирать!

## 21

Отыскали Ивана в виварии. Он стоял перед клеткой со Львом. Лев внимательно разглядывал посетителя, словно встречал его раньше. Джон, на которого не обращали внимания, суетился в своей клетке, ворчал, а Мария Степановна отрешенно застыла у двери.

— Тебе еще рано выходить, — сказал Ржевский с порога.

— Здравствуй, — сказал Иван.

— Почему ты меня не предупредил?

— Я знаю в институте все ходы и выходы, — сказал Иван. — Не хуже тебя.

Ниночка стояла на шаг сзади, поворачивала голову, отмечая различия между ними. Например, чуть более высокий и резкий голос Ивана.

— Погоди, — сказал вдруг Ржевский, — дай-ка руку, пульс дай, тебе говорят!

Иван протянул руку. Лев, который увидел это, протянул свою лапу сквозь решетку, ему тоже захотелось, чтобы у него проверили пульс.

— Почему такой пульс? — спросил Сергей Андреевич.

— Ты прав, — сказал Иван. — Давай вернемся. Голова кружится. Делали меня не из качественных материалов. Черт знает что совали.

— Что и во всех, — ответил Сергей. — По рецептам живой природы.

В коридоре встретили нескольких сотрудников. Мало кто в институте видел Ивана. Люди останавливались и смотрели вслед. Кто-то крикнул, приоткрыв дверь:

— Семенихин, да иди ты сюда! Скорей!

Ниночка почувствовала, как Ивану неприятно. Он даже ускорил шаги и вырвал руку у отца.

## 22

Ему снился длинный сон. В этом сне он был мал, совсем мал. Шел по поляне, на которой покачивались цветы с него ростом, и между цветами слепило солнце. Рядом шла мать, он ее не видел, видел только пальцы, за которые цепко держался, потому что боялся шмеля. Вот прилетит и его заберет. Он знал, что дело происходит в Тарусе и ему четыре года, что это одно из его первых воспоминаний, но в то же время это был сон, потому что само воспоминание уже выветрилось из памяти Сергея Ржевского, оно стало семейным фольклором — как Сережа боялся шмеля. Но почему-то в сознании не было картинки шмеля, а лишь звуковой образ Ш-Ш-Ш-мель! Неопределенность угрозы заставляла ждать ее отовсюду, она могла даже превратиться в руку матери, и он начал вырываться, но мать держала крепко, он поднял глаза и увидел, что это не мать. А Лиза, которая плачет, потому что знает — сейчас прилетит шмель и унесет его...

Он проснулся и лежал, не открывая глаз. Он хитрил. Он знал, что люди при нем перестают разговаривать об обычных вещах — словно ему нельзя о них знать. Он понимал, что его притворство скоро будет разоблачено — приборы всегда предавали его.

На этот раз, видно, никто не поглядел на приборы, может, не ждали его пробуждения. Говорили шепотом. Мария Степановна и другая, незнакомая сестра.

— Глаза у него неживые, старые глаза, — шептала Мария Степановна. — Сколько у меня было пациентов — миллион, никогда таких глаз не видела.

— Откуда же он все знает? Это правда, что он скопированный?

— Не скажу, — ответила Мария Степановна. — Когда меня сюда перевели, он уже готовый был.

— И рассуждает?

— Рассуждает. Иногда заговаривается, конечно. На первых порах себя директором воображал.

Иван осторожно приоткрыл глаза — в комнате горела только настольная лампа, техник дремал в кресле, две медсестры сидели рядышком на диване. Было тихо, мирно, и разговор вроде бы и не касался его.

— А ты не боишься его? — спросила незнакомая сестра.

— Да нет, он добрый, я агрессивность в людях чувствую, большой послеоперационный опыт. Агрессивности в нем нет. Но глаза плохие. Боюсь, что не жилец он. Нет, не жилец...

Это я не жилец? Почему? Неужели в самом деле во мне есть что-то ненастоящее, недоделанное, слишком хрупкие сосуды или не той формы эритроциты?

Иван невольно прислушался, как бьется сердце. Сердце пропустило удар... По крайней мере нервы у него есть.

## 23

Снова Иван проснулся под утро. Что-то было не так... Снег стегал по закрытым окнам, ветер такой, что дрожали стекла. Почему-то показалось, что рядом лежит Лиза и спит — беззвучно, неслышно, чтобы не помешать ему, даже во сне боится ему помешать... Он протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча, которое так точно вписывается в чашу согнутой ладони. И понял, что это не его память! Тряхнул головой, сбил подушку. Мария Степановна, прилегшая на диванчик, заворочалась, забормотала во сне, но не проснулась.

И тогда, уже бодрствуя, Иван начал прислушиваться к звукам ночного института, в которых что-то было неправильно.

Осторожно опустил ноги на пол, босиком, в пижаме, прошел к двери. Повернул ручку. Потом щелкнул замок.

В переходнике было темно. Иван прикрыл за собой дверь, во внешней лаборатории отыскал выключатель. Вспыхнули лампы, он даже зажмурился на мгновение. Тоже тихо — лишь через несколько стен доносится шум, глухой и неразборчивый. По коридору побежал. Подошвы тупо стучали по половицам. За одной из дверей — здесь живут шимпанзе — слышно было ворчание, стук. Он повернул ручку двери. Заперта. Иван наклонился, заглянул в замочную скважину. Была видна часть клетки, скупо освещенная маленькой лампочкой под потолком. Джон метался по клетке, тряс прутья, потом понял, что за дверью кто-то есть, и принялся ухать, верещать, словно никак не мог вспомнить нужные слова.

— Что у вас там? — спросил Иван тихо. — Что случилось?

Джон услышал, принялся бить ладонями по полу, отдергивая их, словно обжигался.

— Внизу? — спросил Иван.

Джон подпрыгнул и заревел.

Иван наклонился, попробовал ладонью пол. Может, ему показалось, но пол здесь был теплее. Подошвы ног этого не чувствовали, а ладонь ощутила.

И тут он услышал вой собак. Собаки часто выли ночами, но сейчас вой был совсем другим.

Иван пробежал еще несколько шагов, растворил дверь, ведущую в подвал, и, когда спускался по лестнице вниз, почувствовал, что воздух стал теплее, словно кто-то неподалеку открыл дверь в прачечную.

Дверь в виварий была не заперта. Иван потянул ее на себя, и в лицо ударил горячий сгусток пара. Вниз вело еще ступенек пять, нижние были покрыты водой, и лампы под потолком чуть светили сквозь белую вату. Жуткий собачий вой перекрывал шипение и журчание горячей воды.

Иван ступил вниз, в воду — она была горячей. Дальше, в середине длинного подвала с клетками вдоль стены пар был еще гуще, и там из лопнувшей трубы била вода.

Надо было ее закрыть. Но как доберешься до трубы и чем ее закроешь? Бежать наверх, звать на помощь? Иван даже полу обернулся было к двери, но тут скулеж собак усилился — собаки плакали, визжали, боялись, что Иван сейчас уйдет, и Иван понял, что сначала надо выпустить животных, это можно сделать быстро, в несколько минут. И то, пока приедет аварийка, собаки могут свариться.

Он нащупал ногой еще одну ступеньку, потом еще одну...

В два шага, пробиваясь сквозь воду, — словно вошел в море и оно придерживает, не дает ступать быстро, — добрался до первой клетки. Пес там стоял на задних лапах — псы во всех клетках стояли на задних лапах, — это была крупная собака. Откинув засов, Иван рванул дверцу на себя — собака чуть не сшибла его и бросилась к выходу, попыталась бежать, не получилось, стала добираться к ступенькам вплавь...

Клеток оказалось много. Он не мог спешить, вода становилась все горячее, и ноги начали неметь от боли. У каждой клетки надо было на две секунды остановиться, чтобы откинуть засов и медленно — так лучше, вернее

— потянуть, преодолевая сопротивление воды, дверцу на себя. Из пятой клетки никто не вылез — там была маленькая собачонка, она еле держала голову над водой, — пришлось протянуть руку в клетку и тащить собаку наружу, теряя драгоценные секунды, а та, обезумев от боли и страха, старалась укусить его, и это ей удалось. Он бросил ее по направлению к двери и поспешил дальше. Ему казалось, что у него с ног уже слезла кожа и он никогда не сможет выйти отсюда — откажут ноги и придется упасть в воду. А он все брел, как в замедленном фильме, от клетки к клетке, боясь отпустить решетки, чтобы не потеряться в пару, нагибаясь, открывая засовы и выпуская или вытаскивая псов. И только когда увидел, что следующая клетка пуста, повернул обратно, хватаясь за горячие прутья решеток, мучаясь, что за той, пустой клеткой, наверное, была еще одна, до которой он не добрался, но даже его упрямства не хватило, чтобы пойти назад...

Он успел заметить, что из одной клетки собака не вышла — плавает на поверхности воды серой подушкой, но он прошел мимо, считая шаги, чтобы не упасть. И уже у порога, увидев, как пытается из последних сил плыть какой-то песик, подобрал его и вынес наружу, переступив через тело собаки, выбравшейся из воды, но не одолевшей ступенек. Иван на секунду остановился, вдохнув холодный воздух. Надо позвонить в аварийку. Или дойти до Марии Степановны, чтобы смазала ему ожоги? Он поднялся по лестнице, к кабинету Ржевского, хотя ближе было дойти до вахтера. Ноги слушались его, но их начало терзать болью и почему-то руки тоже, но он не смел поглядеть на свои руки. Он миновал стол Леночки, кабинет был заперт, он вышиб дверь плечом — с одного удара.

Прошел к столу Сергея, нажал кнопку настольной лампы и с трудом подтащил к себе телефон. И только тогда увидел свою руку — красную и распухшую. Но как звонить в аварийку, он не знал. И куда звонить? Ржевскому? Нет. Он не поможет. Кто-то должен отвечать за такие вещи... Иван набрал номер телефона Алевича. Долго не подходили.

— Я слушаю, — послышался сонный голос.

— Дмитрий Борисович, — сказал Иван. — Простите, что разбудил. Это Ржевский.

Алевич сразу понял — что-то случилось. Голос директора звучал натужно. И было четыре часа утра.

— Я слушаю. Что случилось? Что-нибудь с Иваном?

— Вы не можете... вызвать аварийную? Прорвало трубу горячей воды... затопило виварий...

— Господи! — вздохнул с облегчением Алевич. — А я-то думал...

— Погодите, — сказал Иван. — Я совсем забыл номер... вызовите и «скорую помощь».

— Ветеринарную? — Алевич все еще не мог скрыть облегчения.

— Нет, для меня, — сказал Иван и уронил трубку.

В коридоре топали шаги — Мария Степановна носилась по этажам, искала пациента...

## 24

— Теперь ты еще больше отличаешься от Сергея Андреевича, — сказала Ниночка. — И моя кровь в тебе есть.

— Спасибо, — сказал Иван. Они сидели на лавочке в заснеженном саду института. — Хотя мне иногда хотелось, чтобы меня не спасали.

— Так было больно?

— Нет.

Они помолчали. Иван поправил костыли, чтобы не упали со скамейки, достал сигареты.

— Почему он тебе разрешил курить?

— Наверное, потому, что курит сам, — сказал Иван. — Во мне есть память о курении, есть память, и ничего с ней не поделать.

— Ну ладно, кури, — снисходительно сказала Ниночка. — Значит, ты унаследовал его плохие привычки.

— А что у тебя дома сказали? — спросил вдруг Иван.

— Мать сказала, что этого от тебя не ожидала. Что ты всегда себя берег.

— Неправда, — обиделся Иван за Ржевского. — Она же знает, что это неправда...

— Иван, а почему ты побежал? То есть я понимаю, я бы струсила, но все говорят, что разумнее было вызвать аварийку.

— Конечно, разумнее. Но я ведь тоже подопытная собака. Своих надо выручать...

— Глупости, — сказала Ниночка. — Теперь к тебе никто так не относится. Особенно те, кто тебе свою кровь давал.

— И потом... Виноват Сергей. Во мне сидело ощущение, что это мой институт, мои собаки... без него я бы даже не нашел дороги в подвал.

— Замечательно, — сказала Ниночка. — Ты обварился за него, а он спокойно спал дома.

## 25

Иван отложил «Сайентифик Американ» — на столике у кровати кипа журналов, отец приносит их каждое утро, будто, если Иван читает их, какая-то часть знаний переходит к отцу. Любопытно наблюдать, как читает Ржевский. Себя — со стороны. Хочется делать иначе. Отец, беря ручку, отставляет мизинец — ни в коем случае не отставлять мизинец, всегда помнить о том, что нельзя отставлять мизинец. Отец, задумавшись, почесывает висок. Ивану тоже хочется почесать висок, но надо сдерживаться...

Журнал скользнул на пол. Повязки с рук сняли — руки в розовых пятнах. И это радовало — отличало от отца. Отец никогда не совершал этого поступка — это мой, собственный поступок.

Его организм оказался слабее, чем рассчитывали, — никто в этом при нем не признавался, но проскальзывали фразы вроде «для нормального человека такой ожог не потребовал бы реанимации»... А он — ненормальный?

Его сны, долгие и подробные кошмары были скорее формой воспоминаний. Чужая память тщательно выбирала стрессовые моменты прошлого, то, что резче отпечаталось в мозгу Сергея Ржевского. Иван предположил, что получил как бы два набора воспоминаний: трезвые, будничные и сонные, неподконтрольные. Сергей, как и любой человек, стрессовые воспоминания прятал далеко в мозгу, чтобы не терзали память. Мозг Ивана воспринимал эти воспоминания как чуждое. Но, когда дневной контроль пропадал, сны обрушивали на мозг Ивана подробные картины чужого прошлого, где каждая деталь была высвечена, колюче торчала наружу — не обойти, не закрыть глаз, не зажмуриться.

Ожидая, когда придет сестра и сделает обезболивающий укол, Иван прокручивал, как в кино, — Сергею это в голову не приходило, — мелочи прошлого. Он восстанавливал, выкладывал в хронологическом порядке то, что сохранилось в его памяти от чужого детства. Начало войны, ему семь лет, отец ушел на фронт. Они ехали из Курска в эвакуацию, эшелон шел долго, целый месяц. Это живет в памяти Сергея как набор фактов, из которых складывается формальная сторона биографии: «Перед войной мы жили в Курске, а потом нас эвакуировали, и мы провели год под Казанью». В мозгу Ивана нашлись лишь отрывочные картинки, и не было никакой гарантии, что там они лежали в таком же порядке, как в мозгу отца. Иван старался вспомнить: как же мы уезжали из Курска? Это было летом. Летом? Да. А вагон был пассажирский или теплушка? Конечно, теплушка, потому что память показала картинку — длинный состав теплушек стоит на высокой насыпи в степи, и они, кажется с матерью и еще одной девочкой, отошли далеко от состава, собирая цветы. Состав стоит давно и должен стоять еще долго, но вдруг вагоны, такие небольшие издали, начинают медленно двигаться, и далекий, страшный в своей отстраненности гудок паровоза, незаметно подкатившегося к составу, доносится сквозь густой жаркий воздух, и вот они бегут к составу, а состав все еще далеко, и кажется, что уже не добежать... Потом кто-то бежит навстречу от состава... Потом они в вагоне. Больше Иван не может ничего вспомнить.

Ночью Иван уже готов к этому, как готов к неизбежности уколов и перевязок. Воспоминание, выпестованное днем, возвратится в виде кошмара, полного подробностей того, что случилось когда-то и забыто. Он снова будет бежать к маленькому поезду, протянувшемуся вдоль горизонта, но на этот раз увидит, как мама возьмет на руки чужую девочку, потому что та плачет и отстает. Ему, Сергею, станет страшно, что отстанет, и он будет дергать девочку за край платья, чтобы мать бросила ее, ведь это его мать, она должна спасать его — и он бежит за матерью и кричит ей: «Брось, брось!» — а мать не оборачивается, на матери голубое платье, а девочка молчит, потому что ей тоже страшно, и бег к поезду, столь короткий в действительности, в кошмаре превращается в вечность, так что он может разглядеть мать, вспоминает, что у нее коротко, почти в скобку, остриженные светлые волосы, видит ее полные икры, узкие щиколотки, стоптанные сандалеты. Без помощи этого сна ему бы никогда не увидеть мать молодой — мать отпечаталась в дневной памяти лишь полной, разговорчивой и неумной женщиной с завитыми, крашеными, седыми у корней волосами. А потом, очнувшись и веря тому, что кошмар был, как и все эти кошмары, правдив, он оценит поступок матери, которая, страшась отстать от эшелона где-то в приволжской степи, помнила, что ее семилетний сын может бежать, а вот чужая девочка добежать не сможет... Но мать уже шесть лет как умерла, а он, Сергей, успел только на похороны... У него, Ивана, никогда не было матери, и признательность он испытывает к чужой маме, которая никогда не бегала с ним за уходящим поездом и никогда не отгоняла от него страшного шмеля. И в то же время Иван понимает, что сейчас он ближе к этой женщине, чем Сергей, потому что Сергей никогда не видел этого кошмара, спрятанного глубоко в мозгу.

## 26

— У тебя с ним роман, и меня это тревожит, — сказала мать.

Они смотрели по телевизору скучный детектив. Ниночка так устала за день, что у нее не было сил воевать с матерью.

— Ты сначала говорила, что у меня роман с Сергеем Андреевичем, — сказала Ниночка, — а теперь навязываешь мне его сына.

Надо идти спать, подумала Ниночка, завтра рано вставать, в темноте по морозу бежать в институт. Мария Степановна заболела, Фалеева тоже в гриппе, а она обещала перепечатать годовой отчет. Сумасшедшая работа.

— Роман с искусственным человеком еще хуже, — сказала мать. — Он ненормальный.

— Опять, мама!

— И эта попытка самоубийства в кипятке! Разве ты не видишь, что в нем сидит деструктивное начало...

Пришлось вставать, идти в свою комнату. Останусь без чая, не в первый раз. Она, улыбаясь, легла.

Стенка тонкая, Ниночке слышен разговор из большой комнаты.

— Я его любила, — говорит мать.

— Не верю. Не мешай смотреть.

— Но сама не понимала.

— У тебя была мама. А Сергей был вчерашний студент, без жилплощади, без денег, без перспектив. Ты оказалась в положении буриданова осла. Одна охапка сена — Сережа, вторая — мамино воспитание. Вот и проморгала. Пришлось сожрать меня.

— Мерзавец! Подлец!

— Тише, ребенку рано вставать...

## 27

Сергей заглянул утром, спросил, как дела, напомнил, что завтра на комиссию. Оставил новые журналы. Сказал, что зайдет попозже. Взгляд у него был вопрошающий, он говорил с Иваном иначе, чем с остальными. Как будто он передо мной виноват, подумал Иван. Я знаю его мысли, его надежды на бессмертие, его рассуждения о научной эстафете — все это в моей памяти. А сегодняшнего Ржевского в ней нет. Мы как бы начали в одной точке и разбегаемся поездами по рельсам в разные стороны.

Он открыл книгу, но читать не стал. Сейчас выйдет во внешнюю лабораторию, там сидит Ниночка, которая при виде его вскочит, лицо вздрогнет радостной улыбкой — смешной котенок. У Эльзы — и вдруг такая взрослая дочь. Дома у них стояло пианино, и Эльза бравурно играла на нем. О чем я думал? Потрепанная книга Шепмана, милого классика, догадавшегося отделить эктодерму от зародыша саламандры — зародыш выздоровел и вырос в саламандру без нервной системы. Оказывается, мезодерма контролирует дифференциацию нервной ткани. Так и меня делали — от Шепмана через Голтфретера и Стюарда к Ржевскому. Иван постарался усилием воли отогнать головную боль — он и так уже перегружен медикаментами, — принялся листать страницы книги, загнутые кое-где отцом, и понял, что ему хочется загибать те же страницы, но он не может этого сделать, потому что они уже загнуты Сергеем, и тот снова его опередил. Обедать Иван пошел в институтскую столовую. Это право он себе выторговал с большими боями. Нельзя мне жить на сбалансированной диете. Если ты, отец, одарил меня своим мозгом, то должен был допустить, что я буду претендовать на место в человеческом обществе...

Эльза сидела за соседним столиком и старалась не смотреть на Ивана. В столовой было мало народу — оба они пришли раньше, чем основная масса сотрудников.

Эльза отворачивается. Ревнует его к собственной молодости. А ну-ка, мы просверлим тебя взглядом! Это неэтично — гордость института, первый в мире искусственный человек жует институтский гуляш и сверлит взглядом директора библиотеки. Эльза на взгляд не реагировала, но нервно двигала пальцами, постукивала по стакану с чаем, начала что-то быстро и весело рассказывать сидевшей спиной к Ивану женщине, потом неожиданно вскочила и выбежала из столовой.

Когда через несколько минут Иван вышел, Эльза стояла на лестничной площадке, нервно курила, встретила его взгляд и спросила:

— Вы хотите что-то сказать?

Иван тоже достал сигареты, закурил и не ответил. Тогда Эльза заговорила быстро высоким, звонким голосом:

— Вы меня не знаете. Мы с вами не встречались. Я не верю Ржевскому. Вы всех ввели в заблуждение. И не понимаю, почему вы меня преследуете.

— Я не преследую вас, Эльза, — сказал молодой человек голосом Ржевского. — Мы с вами так давно знакомы, что можно не притворяться.

— Я все равно не верю, — сказала Эльза. — Вам всего несколько месяцев. Ржевский рассказывал вам обо мне, потому что вы ему нужны для удовлетворения его дикого тщеславия. Может быть, ваша игра пройдет для академического начальства, но меня вам не убедить.

— А это совсем не трудно, — сказал Иван. — Можете меня проверить.

— Как?

— Спросите меня о чем-то, чего никто, кроме вас и Ржевского, не может помнить.

— И окажется, что он вам об этом рассказал. И это гадко, понимаете, — гадко. Человек может распоряжаться лишь своими воспоминаниями. Но когда это касается других людей, это предательство. Сплетня.

— И все же спросите.

Эльза поморщилась. Но не ушла. Вдруг спросила:

— Мы катались на речном трамвайчике. Летом. Было холодно, и ты дал мне свой пиджак... Помнишь?.. Помните?

Воспоминание лежало где-то внутри. До этого мгновения Иван не знал, что когда-то катался на речном трамвайчике с Эльзой, не было нужды вспоминать.

— Вы были в синем сарафане с такими тонкими плечиками. Вы сказали мне, что хотите шампанского с семечками, а я ответил, что это винницкий вариант красивой жизни.

— Не помню. И это все?

— Все.

— Лжешь! — Эльза бросилась вверх по лестнице.

Она не хотела, чтобы он вспомнил, и боялась. А он вспомнил. Тогда на трамвайчике Эльза доказывала, что Лиза его недостойна. Что он никогда не почувствует с ней духовной близости, что Лизетта даже не смогла кончить десятый класс — надо понимать разницу между романом и семейной жизнью. Ты никогда не сможешь полюбить ее ребенка, я говорю тебе как друг, ей всегда будет ближе отец ребенка. Ты еще мальчик, Сережа, ты не знаешь женщин. Ей нужно устроиться замуж — ради этого она пойдет на все. Пойми меня правильно, я люблю Лизетту. Лизетта — добрая душа. Но тебя она погубит, опустошит... Беги от нее, спасайся, пока не затянуло мещанское болото.

— Вот где я тебя нашел, — сказал Ржевский. — Я так и подумал, что ты пошел в столовую. У меня кофе растворимый в кабинете. Хочешь чашечку?

Они молча поднялись по лестнице, и встречные сотрудники института останавливались, потому что Сергей и Иван были больше чем отец и сын, они были половинками одного человека, разделенными временем.

## 28

— Меня смущает, — сказал Ржевский, — что наши отношения складываются иначе, чем мне хотелось бы.

— Чего бы тебе хотелось? Чтобы я замещал тебя в этом кабинете?

— Со временем я рассчитывал и на это.

— Я могу замещать тебя и сегодня. Вопрос о жизненном опыте для меня не стоит.

Они одинаково держали чашки и одинаково прихлебывали кофе. И наверное, одинаково ощущали его вкус. Иван прижал мизинец, и Сергей не заметил этого движения.

— Ты должен идти дальше, вперед, от той точки, в которой я тебя оставил. В этом смысл тебя, меня, нашего с тобой эксперимента.

— А прошлое? Его во мне больше, чем в тебе.

— Почему?

— Ответь мне, как была одета мать, твоя мать, когда вы отстали от поезда в сорок первом году?

— Мы отстали от поезда... Это было в степи. Поезд стоял на насыпи... Нет, не помню.

— И еще там была девочка, маленькая девочка. Когда мать побежала, она подхватила эту девочку, потому что та не могла быстро бежать. А ты злился на мать и кричал ей: «Брось!»

— Не кричал я этого!

— Кричал, кричал. Как была одета мать?

— Не помню. Понимаешь, это трудно вспомнить через сорок с лишним лет.

— А я помню. Понимаешь, помню. Почему?

— Почему? — повторил вопрос Ржевский.

— Да потому, что я — это не ты. Потому, что я знаю: эти воспоминания моими никогда не были! Я могу в них копаться, я могу в них смотреть. Мать была тогда в голубом сарафане и сандалетах. Тебе кажется, что ты забыл. А ты не забыл! Просто вспомнить это могу только я, потому что я хочу вспомнить. Ты думаешь, это единственное различие между нами?

— Я забыл и другое? — Ржевский пытался улыбнуться.

— Ты забыл многое — я еще не знаю всего...

— Вместо того, чтобы искать точки сближения, ты стараешься от меня удалиться.

— А ты подумал о том, что я — единственный человек на земле, у которого не было детства? Я помню, как мальчиком иду с матерью по лугу, и в то же время знаю, что никогда не ходил с матерью по лугу, — это ты ходил, ты украл у меня детство, ты понимаешь, ты обокрал меня и теперь сидишь вот здесь довольный собой — у тебя есть духовный преемник, замечательный сын, хорош собой и во всем похож на человека.

— Ты и есть человек. Самый обыкновенный человек.

— Врешь! Я не человек и не буду им, потому что у меня нет своей жизни. Я — твоя плохая копия, я вынужден вести твои дела, за тебя выяснять отношения с Эльзой, которая боится, как бы я не запомнил из прошлого больше, чем ты. Ты этого не понимаешь и еще не боишься, а она уже испугалась. Видно, инстинкт самосохранения развит у нее сильнее, чем у-тебя.

— Чего ей бояться? — Ржевский поднялся, налил себе кипятку из термоса, принесенного Леночкой. — Хочешь еще кофе, сын?

— Замолчи, Ржевский! Сына надо вырастить, вставать к нему по ночам и вытирать ему сопли. Ты создавал не сына, а самого себя. Сын — это продолжение, а ты стремился к повторению. Если тебя тяготила бездетность, почему ты не удочерил Катеньку? У вас с Лизой были бы и другие дети... Или Эльза была права, когда вы катались на речном трамвайчике и она уверяла, что Лизочка тебе не пара?

— Какой еще трамвайчик?

— Ты меня наградил этой памятью, а теперь недоволен? Ты разве не знал, на что шел? Тебя не научили шимпанзе? Или ты хотел, чтобы я унаследовал только твою страсть к науке?

Ржевский взял себя в руки.

— В чем-то ты, наверное, прав... Но и мне нелегко. У меня такое чувство, будто я прозрачен, будто в меня можно заглянуть и увидеть то, чего я сам не хочу видеть.

— Я не хочу никуда заглядывать. Мне это не дает спокойно жить. Тебе хотелось бы, чтобы я опроверг эффект Гордона и всерьез занялся математикой? А я думаю о Лизе.

— Я думал, что после окончания работы комиссии ты переедешь ко мне. Я живу один, две комнаты, мы бы друг другу не мешали.

— А теперь уже сомневаешься. И ты прав. Нельзя жить вместе с самим собой. Дай нам разойтись... подальше. Я не могу чувствовать себя твоим сыном, потому что я старше тебя. Дав мне свою память, ты позволил мне судить тебя.

— Мы еще вернемся к этому разговору. — Ржевский сказал это сухо, словно отпуская провинившегося сотрудника, и, когда Иван хмыкнул, узнав эту интонацию, он вдруг стукнул кулаком по столу. — Иди ты к черту!

Иван расхохотался, вытянул ноги, развалился в кресле, и Алевич, который сунулся в кабинет, потому что надо было решать с Ржевским хозяйственные дела, замер на пороге, не входил. Подопытный молодой человек вел себя уж слишком нахально. Сергей Андреевич никому этого не позволял.

## 29

Ниночка сидела у Ивана, он гонял ее по химии — зима на исходе, пора думать о том, как поступать в институт. Потом обнаружилось, что у Ивана кончились сигареты, и Ниночка сказала, что сбегает. Иван поднялся.

— Мне тоже не мешает подышать свежим воздухом.

Мороз на улице был сухой, несильный, снег скрипел под ногами звонко и даже весело.

— Мы так и не собрались на лыжах, — сказал Иван. — Зима уже на исходе, а мы с тобой...

— Я принесу лыжи из дома, — сказала Ниночка. — Они лет десять стоят у нас без движения.

Бараки уже снесли. Но отсутствие их не так чувствовалось зимой, когда деревья прозрачны и дыры, оставшиеся от бывших строений, не так видны.

— Ты знаешь, что он здесь когда-то жил? — спросил Иван.

— Да, очень давно.

— В третьем бараке от угла. Жаль, что я не успел туда сходить.

— Почему? Ты же борешься с Ржевским. Даже до смешного.

— Мне не все ясно. И я начинаю терзаться.

— Ой, и простой же ты человек, — сказала Ниночка. — Ясности тебе подавай. Даже я уже догадалась, что без ясности иногда проще. Ведь это замечательно, что еще остались какие-то тайны. Раньше вот ты был тайной, а теперь ты...

— Кто я теперь?

— Сотрудник института.

— Со мной нельзя дружить, — сказал Иван, усмехнувшись. — Я потенциально опасен. Все неизвестное опасно. А вдруг у меня завтра кончится завод?

— А вот и неправда. Не кончится, — сказала Нина. — Целая комиссия тебя на той неделе разбирала по косточкам.

Ниночка разбежалась и поехала по ледяной дорожке, раскатанной на тротуаре. Иван, мгновение поколебавшись, за ней. Он часто колебался, прежде чем сделать что-нибудь, вполне соответствующее его двадцатилетнему телу. Будто Ржевский, сидевший в нем, стеснялся кататься по ледяным дорожкам или прыгать через лужи и немолодыми костями и мышцами соизмерял препятствия.

Они зашли в магазин у автобусной остановки. Иван купил блок сигарет. Ему не хватало тридцати копеек, и Ниночка дала их.

По договоренности с академией с первого числа Ивана зачислили в институт на ставку лаборанта — не сидеть же здоровому молодому парню в подопытных кроликах. Конечно, он мог бы и руководить лабораторией. Но и Ржевский, и сам Иван понимали, что рассчитывать на такую милость академии не приходится. Пока что Иван оставался экспериментальным существом и даже в поведении мудрых членов последней комиссии Иван отметил некоторую робость и настороженность. Но он уже привыкал на это не обижаться.

— Рассказывай дальше, — сказала Ниночка, когда они вышли из магазина и повернули к институту.

— Эльза их познакомила. Сергей жил в общежитии, а Лиза — в одной комнате с матерью, братом и, главное, с Катей. Катя — ее дочка от того актера. У актера была семья, он к той семье вернулся.

— А сколько было девочке?

— Кате? По-моему, годика три, совсем маленькая. Лиза и Сергей полюбили друг друга.

Ниночка вдруг начала ревновать Ивана к той далекой Лизе, что было бессмысленно, но ведь Иван помнил, как ее целовал. И, может, даже лучше бы он и не рассказывал об этой Лизе, но останавливать его нельзя...

— А потом... Пока Лиза была бедной и легкомысленной подругой, твоя мама ее опекала и обожала. Ах, эти исповеди на Эльзиной кухне!

— Стой! — сказала Ниночка мрачно. — Этого вы с Ржевским помнить не можете...

— Нам... То есть ему рассказывали. И у моей памяти перед памятью Ржевского есть преимущество — я всегда могу спохватиться и сказать себе: это не моя любовь! Это не моя боль! Ты, отец, ошибаешься, потому что участвовал. Я вижу больше, потому что наблюдаю. И сужу.

Иван разбежался, первым прокатился по ледяной дорожке, развернулся, протянул руки Ниночке, но она не стала кататься и обежала дорожку сбоку.

— Рассказывай, — сказала она, — что дальше было. И оставайся на почве фактов, как говорил комиссар Мегрэ.

— Они с Лизой сняли комнату в одном из этих бараков, купили топчан, сколотили кроватку для Кати и стали жить. Они любили друг друга... А потом в воспоминаниях начинаются сбои.

— Почему?

— Я думаю, что наш дорогой Сергей Андреевич пере оценил свои силы и свою любовь, но признаться в этом не может даже себе.

— Он ее разлюбил?

— Все сложнее. Во-первых, разрушился союз друзей...

— Почему?

— Представь себя на месте мамы. У тебя есть младшая подруга, непутевая и еще с ребенком на руках, рядом — талантливый Ржевский и обыкновенный Виктор... И вдруг оказывается, что Ржевский серьезно намерен жить с Лизой, жениться на ней... И тогда твоя мама, прости, возненавидев Лизу, отвергла от своего сердца эту предательницу...

— Неправда!

— Я на днях разговаривал с твоей матерью. Она хотела узнать, не забыл ли я одного разговора о Лизе.

— Она надеялась, что ты забыл?

— А я запомнил. Лучше Ржевского.

Они вошли в институт, в коридоре встретили Гурину, которая вела за руку шимпанзе Льва, и тот сморщил рожу, узнав Ивана.

В лаборатории Ниночка осталась во внешней комнате. Иван, чувствуя неловкость, что наговорил лишнего, прошел к себе.

Но через пять минут Ниночка ворвалась к нему.

— Почему ты не рассказал, чем все кончилось? Жалеешь меня?

— Нет.

— Рассказывай.

— Ладно. Подошло время поступать в аспирантуру. Они с Лизой прожили к тому времени больше полугода. Ржевский стоял в очереди за молоком для Катеньки и работал ночами, когда ребенок засыпал. Лиза готовила еду, стирала белье и была счастлива, совершенно не видя, что Ржевский смертельно устал — последний курс, диплом, а он — мальчишка, на которого свалились заботы о семье.

Ниночка кивнула. Достала из пачки сигарету, хотела закурить, но Иван отобрал у нее сигарету.

— В общем, Ржевский устал. Ему уже не нравился суп, который Лиза готовила без мяса, потому что на мясо не было денег. Она сама работала через день на фабрике — без этого не прожить, а каждый второй день Ржевский оставался с девочкой, и ничего нельзя было поделать — тогда в детский сад устроиться было очень трудно, начало пятидесятых годов. Ржевскому страшно хотелось остаться одному — без Лизы, без Кати, без людей. Он чувствовал себя пещерным человеком, у которого жизнь кончилась, не начавшись. И он уже никогда не будет ученым. Он был раздражен и несправедлив к Лизе.

— Я могу его понять, — сказала Ниночка. — Лиза тоже должна была понимать, на что она его обрекла.

— Ни черта ты не понимаешь, — сказал Иван. — Что могла Лиза сделать? Она старалась, чтобы Катя не плакала, когда папа Сережа работает. И надеялась — Сережа поступит в аспирантуру, им дадут квартиру в институте, все образуется. Как-то он встретился с твоей мамой и не сказал об этом Лизе. Эльза обволакивала его сочувствием. Она его понимала!

— Можно без комментариев? — попросила Ниночка.

— Можно. Потом в один прекрасный день твой дорогой Ржевский сообщил Лизе, что они с Катей погубили ему жизнь.

— Просто так, на пустом месте?

— Нет, ему сказали, что его моральный облик — связь с Лизой — закрывает ему путь в аспирантуру. В те времена к этому относились строго. А она не была разведена с тем актером.

— Кто сказал ему про аспирантуру? Он сам догадался?

— Неважно.

— Важно. Моя мама, да?

Ниночка уже верила в это и потому стала агрессивной и готова была защищать Эльзу.

— Нет, — ответил Иван, не глядя ей в глаза.

Он не думал об этом раньше, а тут сразу вспомнил. Об этом сказала не Эльза. Виктор тогда стажировался в институте, всех знал и был не то в месткоме, не то ведал кассой взаимопомощи. Они курили в коридоре у окна, а Виктор смотрел грустно и рассуждал: «В дирекции недовольны. Наверняка отдадут место Кругликову. Я слышал краем уха. Старичок, надо выбирать. Или любовь, или долг перед наукой. Сам понимаешь...» Иван забыл об этом разговоре. Виктор мог рассуждать сколько угодно, если бы Ржевский сам для себя не готовился к расставанию.

— А чем кончилось? — спросила Ниночка.

— Лиза ушла от него. И уехала из Москвы.

— И он ее не нашел? Или не искал?

— Сначала он почувствовал облегчение. А через некоторое время затосковал. Пошел к Лизиной матери. Но та отказалась помочь. Эльза сказала ему, правда, она ошиблась, что Лиза вернулась к тому актеру.

— Ошиблась? Или нарочно?

— Не знаю. Через несколько лет он узнал, что Лиза уехала в Вологду. А там попала под поезд или как-то еще умерла.

— Она бросилась под поезд. Как Анна Каренина! Он ее убил!

— Может, случайность. С тех пор Ржевский уверен, что виноват в ее смерти.

— Виноват, — подтвердила Ниночка. — И мама в этом убеждена.

— Главное, что он виноват для самого себя. А когда он планировал меня, то, разумеется, не учел, что я буду помнить все о Лизе. Не только о генах и мутациях, но и о Лизе.

— А что стало с девочкой... с Катей?

— Милая, прошло много лет. Она сейчас старше нас с тобой. Живет, наверное, в Вологде, нарожала детей...

— Не хотела бы я быть на месте Ржевского.

— Прости, что я тебе все это рассказал.

— Кому-то надо было рассказать. Ты же ревнуешь к отцу.

— Ревную?

— Конечно. Тебе кажется, что он у тебя отнял и любовь. Он ее целовал, а ты об этом помнишь, как будто подглядывал. Это ужасно!

— Эдипов комплекс, Фрейд в квадрате. Не усложняй.

— Куда уж там... — Ниночка положила ладонь на руку Ивана, и тот накрыл ее другой рукой.

Ниночка замерла, как будто была птенцом, которого всего Иван накрыл ладонью.

— А я? — сказала она не сразу. — Меня ведь там не было. Я только сегодня.

— Тебя я ни с кем не делю, — согласился Иван.

— Ты думаешь о другом?

— Нет, что ты...

Ниночка вырвала ладонь, вскочила, отбежала к двери.

— Мне тебя жалко! — крикнула она от двери. — До слез.

— Извини, — сказал Иван. — Я думал о другом.

— Знаю, знаю, знаю!

Ниночка хлопнула дверью. Тут же открыла ее вновь и заявила:

— Когда сам влюбишься, тогда поймешь.

— Но трудно рассчитывать на взаимность, — улыбнулся Иван. — При такой-то биографии. У меня даже паспорта нет.

— Дурак!

На этот раз Ниночка так хлопнула дверью, что зазвенели склянки в белом шкафчике у окна.

## 30

В конце февраля вдруг совсем потеплело. Ивану было жалко, что снег съеживается, темнеет. Теплая зима неопрятна. И обидно, если это твоя первая зима.

Иван не собирался в Исторический музей. Он был в ГУМе, купил венгерские ботинки и галстук. Пробелы в гардеробе были катастрофическими, у отца брать вещи не хотелось, да и небогат был Сергей по этой части.

Иван обнаружил тут некоторое кокетство великого человека, который натягивает перед зеркалом потертый пиджак, чтобы все видели, насколько он выше подобных вещей. Отец, конечно, не отдавал себе отчета в кокетстве — только со стороны было видно. Со стороны и изнутри.

Низкие облака тащились над Красной площадью, задевая за звезду Спасской башни. Собирался снег. Или дождь. Исторический музей казался неприступным замком. Иван решил, что он закрыт. Но перед тяжелой старой дверью стояли скучные экскурсанты. У них был вид людей, которые уже раскаивались в том, что соблазнились культурой, когда другие заботятся о материальном благополучии.

Иван купил билет. Он даже вспомнил запах этого музея. Запах громадного замка, наполненного старыми вещами. К нему надо привыкнуть, не замечать его, забыть и вспомнить снова через много лет. Когда он первый раз пришел туда? Ему было лет пятнадцать, в коробке у бабушки оказалась античная монета, будто оплавленная и покрытая патиной, невероятно древняя и невероятно ценная. Он тогда вошел с проезда у кремлевской стены в служебный вход, позвонил снизу в отдел нумизматики, кажется, номер 19. Он держал монету в кулаке. Прибежала девушка, оказалось, ее зовут Галей. Почему-то потом они сидели в комнате на втором этаже, которой можно было достигнуть, лишь пройдя путаными узкими коридорами. Стены комнаты были заставлены стеллажами с книгами. Другая женщина, постарше, вынесла толстый каталог в темном кожаном переплете. Он даже запомнил, как она сказала: «Варварское подражание». Ему эти слова показались смешными.

Иван покачал головой, словно хотел вылить воду из уха. Он никогда раньше не бывал в Историческом музее и не знал, как пахнет замок, полный старинных вещей.

Иван стоял в зале каменного века. На большой картине первобытные охотники добивали мамонта. Под стеклом лежали рядком наконечники стрел, оббитые ловко и точно, чуть зазубренные по краям.

Это было приятное узнавание. Кое-что изменилось. Но не так много, чтобы удивить. Впрочем, мало что изменяется в первобытно-общинном строе.

Надо было зайти в следующий зал. Но там, как назло, половина помещения была отрезана веревочкой, на которой, чтобы посетители не налетели на нее, были развешаны зеленые бумажки, словно для волков-дальтоников. На полу стояло несколько греческих ваз. Рядом сидел Пашка Дубов с кипой ведомостей на коленях. Пашка сильно постарел, раздался, по в общем изменился мало. Иван сказал:

— Пашка!

И тут же спохватился. Он же не знаком с Пашкой.

Иван отвернулся к витрине, уставился в разноцветную карту греческих поселений Причерноморья. В стекле отразилось удивленное лицо Дубова — усики и острый носик. Хотя тогда усики еще только пробивались. Дубов говорил, что настоящий археолог не должен бриться — это экономия усилий и времени. Усики у него уже пробивались, а бороды еще не было. Они сидели на берегу Волхова, недалеко от моста. Был прохладный серебряный летний вечер. Давно ушедшее солнце умудрилось еще подсвечивать купола Софии. Сергей тогда сказал Пашке, что таких вот, как он, и бросали с моста в Волхов, устанавливая торжество новгородской демократии. Пашке хотелось скорее отрастить усы и бороду, потому что он был смертельно влюблен в аспирантку Нильскую. Разница между ними была необъятная — минимум шесть лет. К тому же Нильская сохла по Коле Ванину, который был талантлив, как Шлиман. Потом пришел сам Коля Ванин и сказал, что береста, которую нашли утром, пустая. Без надписи. Пашка смотрел на мост и, видно было, хотел сбросить талантливого соперника в Волхов. А Коля не подозревал об угрожавшей ему участи и рассказывал, что печать Данилы Матвеевича надо датировать самым началом пятнадцатого века. Сергей глядел на молодого Шлимана влюбленными глазами. Он разделял чувства аспирантки Нильской. Коля Ванин разговаривал со школьниками, приехавшими на каникулы в новгородскую экспедицию, точно так же, как с академиками. Ему важны были единомышленники и умные люди. Должность — дело наживное.

Пашка Дубов снова обратился к ведомости. Интересно, он счастлив? Прошло три десятка лет с тех пор, как они сидели на берегу Волхова. Коля Ванин теперь член-корр. Грамот, которые в те годы только начали находить, набралось уже несколько сотен, а пожилой Пашка Дубов, оказывается, работает в Историческом музее и считает черепки.

Дубов почувствовал взгляд и снова обернулся. Что он видит сейчас? Просто молодого человека, забредшего сюда в пасмурный день?

Дубов привстал, положил на стул ведомости, улыбнулся криво и несмело, он всегда так улыбался.

— Простите, — сказал он. — Простите...

— Вы обознались, — ответил Иван. — Хотя я очень похож на Ржевского в молодости.

И он быстро ушел из зала, почти выбежал из музея, чуть не забыл в гардеробе ботинки, ему было неловко, что он вел себя, как мальчишка. Совсем как мальчишка.

## 31

Вечером он сам зашел к отцу. Без предупреждения.

У отца сидел громоздкий обвисший старик, академик Человеков. Отец удивился и обрадовался.

— Вот вы какой, — гудел Человеков. — Завидую, завидую отцу вашему. Молодец вымахал. Что беспокоит?

Они пили чай с вафлями. Два солидных человека, настоящий академик и будущий академик. Ржевскому неловко было спросить, зачем Иван пришел. Он делал вид, что Иван здесь днюет и ночует.

— Чай пить будешь? — спросил отец.

— Нет, спасибо. Я на антресоли залезу, хорошо?

— Что тебе понадобилось?

— Книжки, — сказал Иван.

Человеков, видно, решил, что Иван здесь живет, и продолжал разговор, не стесняясь постороннего. Впрочем, какой он посторонний?

Иван подставил стремянку. Антресоли были широкие, снаружи лежали старые ботинки, связки журналов. Иван бросал их на пол.

— Осторожнее, — сказал Ржевский. — Внизу люди живут.

— Ассигнования я гарантирую, — гудел Человеков. — Я бы не пришел к вам с пустыми руками. И лимит на японскую аппаратуру. Ведь нуждаетесь, а?

Книги, заткнутые внутрь, пахли пылью. Когда он их туда положил? Лет шесть назад, когда был ремонт. Спрятал подальше, чтобы не вспоминать. Иван вытащил сборник по дендрохронологии в белой бумажной обложке. Срезы стволов, из которых сложены новгородские мостовые, были прорисованы тонко и точно.

— В любом случае, — рокотал Человеков, — вы не остановитесь на первом экземпляре. Не морщитесь. Экземпляр — это не оскорбление. Правда, молодой человек?

— Нет, — откликнулся Иван. — Я не обижаюсь.

— Вот видите, он разумнее вас, — сказал Человеков. — А денег сейчас вам больше не дадут. Сначала года три помучают комиссиями.

За плотной стенкой книг по археологии нашелся и ящик. Юношеская коллекция. Ящик поддался со скрипом. Он был тяжелый. Иван с трудом спустил его на пол. Сел рядом и вынимал оттуда завернутые в белую бумагу черепки и кремни. Читал округло написанные данные — где, когда найдено.

Он даже не сразу услышал, как Человеков начал прощаться.

— Так проходит мирская слава, — сказал академик. — У меня внук собирается в историки. Я отговариваю. Прошлого не существует, пока мы не устроили настоящее.

Иван поднялся. Человеков прошел в прихожую и долго одевался. Внимательно разглядывал Ивана, кидал быстрые взгляды на Ржевского, потом снова на его сына.

Когда наконец натянул пальто, вдруг спросил:

— Молодой человек, а хочется ли вам быть продолжением отца?

— Я еще не знаю, — сказал Иван. — Наверное, не во всем.

— Молодец, — обрадовался академик. — Когда мы сделаем моего, я его обязательно уговорю заняться чем-нибудь еще.

— Почему? — спросил Ржевский.

— Я пятьдесят лет отдал своей проклятой науке. Я устал. Какое я имею право навязывать своему сыну перспективу еще пятьдесят лет делать то, что он мысленно проделал со мной вместе? Не обращайте внимания, я шучу. У меня тоже бывают сомнения.

Когда академик ушел, Сергей сказал:

— Приходил просить сделать... это. С ним.

— Я понял, — сказал Иван. — Но при виде меня его уверенность уменьшилась?

— Даже с его влиянием денег ему не достать, — сказал Ржевский. — Что это ты вспомнил о детских увлечениях?

Иван вертел в пальцах половинку синего стеклянного браслета.

— Помнишь, как ты чуть с обрыва не рухнул? — спросил он.

— Помню. Конечно, помню.

— Я сегодня в Историческом музее был. Знаешь, кого там видел?

— Не имею представления.

— Пашку Дубова.

— Неужели? А что он там делает?

— Работает. Антикой занимается.

— Молодец, — сказал Ржевский. — А я думал, он сбежит. Знаешь, он страшно комаров боялся.

— Знаю.

— Человеков врет.

— Что? — Иван осторожно завернул обломок браслета в бумагу. Развернул следующий пакетик. Он еще никогда не ощущал такого сладостного узнавания. Даже в желудке что-то сжималось от радости, что он сейчас встретится со старым знакомым. Конечно же, валик от амфоры. Из Крыма.

— Человеков врет, — повторил Ржевский. — Я готов еще пятьдесят, сто лет заниматься тем же. И ты должен меня понимать лучше любого другого.

— Дубов растолстел, — сказал Иван. — А усики такие же. Сидит в зале, проверяет что-то по ведомостям.

— Значит, недалеко ушел. Младший без степени, — сказал Ржевский. — Потом сложи все это обратно.

## 32

В начале марта сдох шимпанзе Лев. От общего истощения нервной системы, как туманно выразились ветеринары. В последние недели он отказывался от пищи, устраивал беспричинные истерики, бросался на решетку, словно хотел пробиться к своему отцу и растерзать его. Джон огрызался, сердился, но тоже был подавлен, словно знал, что Льву не жить на свете.

Ржевского эта смерть очень расстроила. И даже не самим фактом — подопытные животные погибали и раньше. Плохо было, что ни один из медиков не смог определить причину смерти.

Но потом случилось еще одно непредвиденное осложнение. Когда Лев пал, Джон обезумел, рвался к мертвому сыну. Тело Льва унесли. Всю ночь Джон не спал. Гурина не выходила из вивария, но под утро задремала. Джон умудрился, не разбудив ее, выломать замок и сбежать из института. В поисках своего сына он добрался чуть ли не до центра Москвы — время было раннее и машин мало. Но в начале Волгоградского проспекта его сшиб троллейбус. Насмерть. Водитель даже не успел понять, что случилось, увидел только, что кто-то попал под колеса. И решил, что сбил человека. Когда остановил машину и увидел, что это обезьяна, он почувствовал такое облегчение, что ноги отказали, и он сел прямо на асфальт.

Иван с Ниночкой об этом не знали. Они пошли к Гулинским в гости. Эльза сказала Ниночке: «Приходи с ним». Та удивилась и не приняла этих слов всерьез, но с улыбкой передала приглашение Ивану. Он сразу согласился идти. И сказал:

— Я там давно не был. Несколько лет.

— Это любопытство? Или раскопки самого себя?

— Археология.

— Так я и знала. Пойду скажу матери, что ты придешь. Она сама не верила. Если не сказать, она не позвонит отцу. Если она не позвонит отцу, некому будет купить жратву на вечер.

Мать тщательно накрасилась, достала сервиз из шкафа, подаренный к свадьбе, поредевший, но ценимый. Отец, конечно, запоздал, и гости сначала выслушали гневную речь в его адрес.

Иван ходил по большой комнате, вглядываясь в вещи, многие так и прожили в этой давно не ремонтировавшейся квартире все тридцать лет. Несколько лет назад собрали денег на ремонт, но тут подвернулась горящая путевка в Дом творчества писателей в Коктебеле. Эльза прожила месяц в самом центре культурной жизни, а Виктор снимал койку в поселке и после завтрака волочился в Дом творчества за кисочкой. Иван никак не мог сообразить, что же его так тянуло сюда? Он прошел на кухню. Потолок стал темнее, клеенка на столе новая. Сколько раз он сидел на этой кухне за поздними бесконечными разговорами. И сюда он пришел после ухода Лизы... И Эльза, потрясенная предательством Лизы, повторяла, что этого и надо было ждать... Зато перед Сергеем теперь открылась дорога в науку.

Ниночка вбежала в кухню.

— Что ты тут потерял?!

— Прошлое, — сказал Иван. — Но не стоило находить.

Эльза тоже пришла на кухню и стала чистить картошку.

— Простите, — сказала она, — но я не смогла отпроситься. Сейчас все будет готово. Десять минут. Ниночка, почисть селедку.

Пришел, волоча ноги, бледный и заморенный Виктор.

— Похож, — сказал он Ивану, здороваясь. — Как две капли.

Он поставил на пол сумки. Потом из одной вытащил бутылку водки и несколько бутылок минеральной воды. И быстро сунул их в холодильник.

— Я тебя просила? — начала Эльза. — Я тебя просила раз в жизни что-то сделать для дома...

— Погоди, кисочка, — сказал Виктор, — не сердись! Я такое зрелище сейчас видел, ты не представляешь.

— Масло купил?

— Купил, купил, сейчас достану. Понимаешь, обезьяна под троллейбус попала. Вы можете себе такое представить?

Он шарил глазами по Ивану, будто рассказывал только ему.

— Какая обезьяна? — испугалась Ниночка. Казалось бы, в городе сотни обезьян, да и не знала она, что Джон сбежал. — Черная? Большая?

— Я ее уже мертвую видел. Громадная, — сказал Виктор. — На месте, одним ударом! Это же не чаще, чем драка двух львов на улице Горького, можно подсчитать вероятность. Из зоопарка, наверное, сбежала.

— Его Джоном звали, — сказала Ниночка. — Это он, правда?

Она взяла Ивана за руку. Тот кивнул.

— Что? — спросил Виктор. — Ваша обезьяна, из института? Ну тем более за это надо выпить. И срочно. Вечная ей память. Наверное, в валюте за нес платили?

— Это какая наша? — удивилась Эльза. — Из вивария?

— Да.

— Искусственная или настоящая?

— Настоящая, — сказала Ниночка зло. — Самая настоящая.

— Шимпанзе-самоубийца! — расхохотался Виктор.

Ниночка увела Ивана в комнату.

— Ты расстроен за Ржевского? — тихо спросила она.

— Ему сейчас плохо.

— Но это же случайность.

— Случайность.

За столом царили улыбки и благодушие. Правда, Иван не пил, совсем не пил, и все согласились, что правильно, молодому человеку лучше не пить.

Виктор быстро захмелел. Последние годы ему достаточно было для этого двух-трех рюмок, а тут он, пользуясь тем, что внимание Эльзы приковано к гостю, опрокинул их штук пять. И сразу стал агрессивен.

Ниночка не любила своего отца в таком состоянии — как будто в нем таился другой человек, совсем не такой деликатный и мягкий, как обычно, человек злой, завистливый и скрывающий свою зависть за умением резать правду-матку.

— Мы с отцом твоим, Ваня, — сказал Виктор, — были друзьями. Веришь?

Иван кивнул. Виктор был близок к истине.

— И остались бы, если бы не бабы и не его карьеризм. Он стремился вверх любой ценой. Ради славы готов был убить. А я... Я не мог наступать на людей.

Эльза пошла за печеной картошкой, загремела крышкой духовки. Виктор наклонился к Ивану и сказал:

— Я ему завидовал. Всегда. И был не прав. Теперь я ему не завидую, понимаешь? Он довел себя до трагедии одиночества. И ты — его расплата.

Иван послушно кивал, как истукан. Щеки его покраснели. Ниночка не знала, как его увести.

— Ржевский будет беспокоиться, — сказала она.

— Я оставил ему этот телефон, — сказал Иван, не двигаясь. Он внимательно смотрел на Виктора, будто приглашая его продолжать.

Эльза принесла блюдо с печеной картошкой. Хрусталинки соли блестели на серой кожуре. Она грохнула блюдом о стол.

Виктор поднялся, подошел к Ивану, наклонившись, обнял его за плечи.

— Ты мне неприятен, — громко сказал он. — Но это не ты, а он, понимаешь?

— Папа!

— Молчи. Он, может, сам не понимает, он меня ограбил, а через столько лет опять явился. Тебе Эльзы мало? Тебе Лизетты мало? Ты за мою Ниночку взялся? Не дам! Не дам, понимаешь? Ничего тебе не дал и не дам!

— Молчи! — закричала Эльза.

Ниночка вскочила.

— Пошли отсюда, Иван!

Эльза плакала. Виктор поплелся за ними в прихожую.

— Ты не понимай меня в прямом смысле, — бормотал он.

К счастью, они быстро поймали такси.

В институте Иван сразу лег. Ему было плохо.

## 33

Четкий кошмар пришел той ночью к Ивану. Из тех кошмаров, что не оставляли не освещенными ни одного уголка памяти Сергея Ржевского, заставляя Ивана знать о нем больше, чем сам Сергей.

Он вошел в комнату в бараке, кипя злостью и обидой, а Лиза, еще ничего не подозревая, бросилась к нему, обняла длинными тонкими руками мокрый от дождя пиджак, быстро и тепло поцеловала мягкими податливыми губами, стала стаскивать пиджак, приговаривая: «Ну, снимай же, ты чего сопротивляешься? Я сейчас же его проглажу». Потом с пиджаком в руке замерла: «Что-то случилось? На работе? У тебя неприятности?» Она говорила таким виноватым голосом, будто неприятности на работе бывали только из-за нее. Он смотрел, понимая, что она ни в чем не виновата, но все — и ее близорукий взгляд, и дрогнувшая нижняя губа, и даже движение ее рук, чтобы отвести в сторону прядь волос, отросших и забранных сзади резинкой, — не вызывало обычного умиления.

— Я не хочу есть, — сказал он, проходя в комнату из маленькой прихожей

— метр на два, но тут же подался назад — совсем забыл, что Катя болела третий день, даже не спросил о ней, но это лишь усилило раздражение.

Они стояли в прихожей совсем близко, но не касаясь друг друга. Краем глаза Сергей видел, что на столе под лампой стоит тарелка, рядом хлеб и масло.

Так они и стояли в прихожей. И не могли никуда уйти. Иван догадался, что в этой неподвижности и таится кошмарность сна. И пока разговор не завершится, они не двинутся из тесной прихожей.

— Расскажи, что случилось?

— Ты мне не сможешь помочь.

— Но я хоть выслушаю. Раньше ты мне все рассказывал.

— Меня не зачисляют в аспирантуру.

— Не может быть!

— Ничего, — сказал Сергей. — Пойду в школу, буду преподавать биологию...

— Почему не берут? Ты же лучше всех. И твой диплом печатать взяли.

Сережа молчал и думал, что у Лизы скошенный лоб и слишком широкие скулы.

— Это из-за меня? — прошептала Лиза. — Ну скажи, скажи.

— Я сам во всем виноват. Сам. Понимаешь, только сам. Не надо нам было встречаться, — сказал он наконец.

А в прихожей — метр на два — тесно и душно, кружится голова, и Иван знает, что сейчас Лиза задохнется. У Лизы плохое сердце, она совсем больная, здесь, в тамбуре, ей не хватит воздуха, и она умрет. Тогда все кончится, его возьмут в аспирантуру, только надо еще потерпеть... и потом станет легче.

А ему, Ивану, хоть это не его вина и не его боль, необходимо спасти Лизу, открыть окно, сломать стену, хотя бы распахнуть дверь. И он просыпается. Тихо. Теперь никто не дежурит по ночам в комнате. И вообще, почему человек должен жить в институте? Как в виварии. Вот притащили шкаф, списанный в какой-то лаборатории, белье, лежащее в нем, пропитывается застарелым запахом кислоты. Снять, что ли, комнату? В каком-нибудь бараке.

Иван достал журнал и попытался читать. Журнал был испанским. Испанского языка Ржевский не знал. Испанский язык учил Иван. Это было важно. Он почитал несколько минут, потом его одолела дремота.

## 34

— Сократите свои штудии, — сказал профессор Володин. — Вы сведете себя с ума. Я серьезно говорю. Раньше это называли мозговой горячкой. Теперь мы придумаем современное название, но помочь вам не сможем. Молодой человек, а давление прыгает, как у старика. Больше свежего воздуха, можете бегать рысцой.

— Я и в молодости не бегал рысцой, — сказал Иван. Тряхнул головой и добавил: — Попробую.

На следующее утро натянул Иван спортивный костюм, белая полоса, как лампасы, побежал трусцой сначала по асфальтовой дорожке, потом свернул в проход между бывшими бараками, попал в промоину, промочил ноги, разозлился на себя. В той, первой молодости он был куда подвижнее.

Тут Иван вспомнил, что его ждет Ниночка. Надо заниматься, раз обещал.

Занятия с Ниночкой выбивали Ивана из колеи, он не мог признаться ученице, что дело в ней. Он сравнивал себя с шофером-профессионалом, который обучает езде новичка. Ниночка была обыкновенной, в меру способной ученицей. Но не больше. Без искры. Часы, которые он проводил с ней, утомляли — ему достаточно было проглядеть страницу, чтобы понять больше, чем имел в виду автор учебника. Но он не мог позволить себе спешить — Ниночка должна была понять то, что было для нее сокровенной тайной, а для него — запятой в уже прочитанной книге. А ощущение времени, ускользающего, дорогого, невозвратимого, у Ивана было чужое — от Ржевского. Казалось бы, он, Иван, должен бы быть куда ближе к Ниночке, для которой сегодняшний день не имел особой ценности, потому что впереди их было бесконечное множество. А в Иване жила внутренняя спешка, желание успеть... Надо было что-то сделать. Сделать, несмотря на предостережения доброго профессора Володина. Что Володин понимает в монстрах? Он же их раньше не лечил. Докторам важно сохранить в целости его бренное тело. Отцу важно использовать его голову. Использовать безжалостно, как собственную. А что нужно Ивану? Жизнеспособен ли он? Дурное самочувствие, хандра, вспышки ненависти к журналам, что отец подкладывает к нему на стол, — это свойства его еще не стабилизированного характера или органические пороки, которые свойственны всем подобным монстрам? Лев и Джон умерли — нет его родственников. Эксперименты на людях пока остановлены — научный мир смотрит на Ивана с различной степенью доброжелательности или зависти. Для всех он — колонки цифр, рентгенограммы, строчки в отчетах. А рядом сидит очаровательная Ниночка и старается осознать закон Харди — Вайнберга, и популяционная генетика для нее выражается сейчас в движущейся картинке, на которой население города Балтимора свертывает языки, — классический пример из учебника, а Ниночке хочется сходить в кино независимо от того, каков процент аллелей в популяции этой Балтиморы рецессивен. И в этой весьма удручающей жизненной картине у Ивана лишь один просвет — взгляд Пашки Дубова и пыльные пакетики из ящика на антресолях.

— А в «Ударнике» сегодня начинается неделя французского фильма, — сообщила вдруг Ниночка. Не выдержала. Теперь надо сделать так, чтобы она не потащила Ивана за собой в кино, потому что ему хочется просмотреть купленную вчера у букиниста книгу любознательного епископа Евгения о древностях новгородских. На это как раз ушла вся зарплата младшего научного сотрудника, если не считать того, что отложено на сигареты.

## 35

Мозг — система, которая имеет пределы мощности. Лишь малая часть его клеток работает активно. Это вызвано не недосмотром природы, а ее мудростью. Мозг надо беречь.

При ускоренном создании, взрослой особи к ней переходит весь жизненный опыт условного отца. Чем выше организован донор, тем активнее трудится его мозг, тем ближе он к пределу своих возможностей, тем меньше у него резервов. То есть мозг Ивана, его нервная система с первого мгновения жизни были перегружены информацией. Усталость Ржевского, истощение его нервной системы достались Ивану.

Но, «родившись», Иван медленно начал поглощать информацию. Он не просто продолжал Ржевского, он спешил отделиться от него, утвердиться, наполнить мозг собственной информацией, а не постепенно, годами набирать ее, как все люди. Ощутив перегрузку, осознав опасность, зазвенели в мозгу предупреждающие сигналы — и мозг принялся отчаянно бороться с чужой памятью Сергея Ржевского.

Господи, подумал Иван, сколько хлама накапливается в каждом мозгу за полвека. И каверза на математической контрольной в четвертом классе, и взгляд Зины из соседнего двора, и содержание поданного в октябре прошлого года заявления об улучшении жилищных условий слесаря Синюхина...

Борьба с Ржевским оборачивалась борьбой с собственным мозгом, и тот выплескивал мысли и образы прошлого — клетки, населенные информацией Ржевского, буквально вопили, что истинные хозяева — они.

«Что же теперь делать?» — думал Иван. Принимать валерьянку? Бросить читать и писать? Не обременять мозг новыми мыслями? Это невозможно. Проще повеситься. А больная совесть профессора Ржевского, столь легкомысленно переданная его незаконному сыну, жаждет покоя. Может кончиться тем, что Иван рехнется, а Ржевский не перенесет провала. Не только провала эксперимента — провала человеческого. Тут все ясно как день. Значит, чтобы не погубить Ржевского, надо выжить самому. А чтобы выжить самому, надо избавиться от недавнего прошлого Ржевского — заколдованный круг.

## 36

Иван подстерег Пашку Дубова у служебного входа. Тот шел с хозяйственной сумкой — из пакетов высовывались горлышки бутылок минеральной воды.

Дубов вовсе не удивился, увидев Ивана.

— Вы чего тогда не подошли? — сказал он. — Я же сразу вычислил. Вы — сын Сергея Ржевского. Точно? Удивительное сходство. Даже в манерах.

Иван не стал спорить. Потом они долго сидели на лавочке в Александровском саду. Дубов послушно отчитывался в экспедициях, в которых работал, даже рассказал о том, почему он женился недавно на студентке и как плохо это отразилось на его положении в музее, потому что его предыдущая жена, даже две предыдущие жены, работают там же. Дубов, оказывается, имеет плохое обыкновение влюбляться в экспедициях. И всерьез. Это вело к алиментам, что накладно при зарплате младшего научного, который так и не собрался защититься.

— А как Сергей? — спрашивал он время от времени, но Иван умело переводил разговор на дела экспедиционные, и Дубов послушно переходил к продолжению рассказа.

— Хотите летом с нами? — спросил он. — Мы будем недалеко, в Смоленской области. Я бы уехал на Дальний Восток, но Люсенька в положении, она возражает.

— Хочу, — сказал Иван.

— А Сережа, Сережа не соберется? Взял бы отпуск.

— Нет, он занят.

— А вы учитесь? Я даже не спросил.

— Я биолог, — сказал Иван.

— Я был убежден, что Сергей станет археологом. И выдающимся.

— Я его заменю, — сказал Иван.

— Хотя бы на месяц, во время отпуска, — согласился Дубов. — Я буду рад. Я очень любил Сережу. Жаль, что наши пути разошлись. А он не будет возражать?

— Наверное, будет, — сказал Иван.

— Он против того, чтобы вы отвлекались, да?

— Против.

— А вас тянет?

— Я нашел коллекцию отца. И у меня такое чувство, что собирал ее я сам. У меня нет такого чувства по отношению к другим делам отца.

— А мой отец хотел, чтобы я стал юристом, — сказал Дубов. — Но я был упрям. Я сказал ему, что нельзя из сына делать собственное продолжение.

— Почему? — заинтересовался Иван.

— Потому что отец не может знать, какое из продолжений правильное. В каждом человеке заложено несколько разных людей. И до самого конца жизни нельзя сказать, кто взял верх. Я убежден, что Сережа мог стать хорошим археологом. Но стал хорошим биологом. Мы с вами не знаем, когда и что случилось в его жизни, что заставило его на очередном жизненном распутье взять вправо, а не влево. А может, ему до сих пор иногда бывает жалко, что он не забирается утром в пыльный раскоп, не берет кисть и не начинает очищать край глиняного черепка. Кто знает, что за этой полоской глины? Может, громадный Будда, которого откопал Литвинский? Может, неизвестный слой Трои? Может быть, целая эпоха в жизни человечества, открытие которой сделает нас вдвое богаче... Господи! — Дубов поглядел на часы и расстроился. — Люсенька мне буквально оторвет голову. У нее завтра семинар, а я еще обед не приготовил. Запишите мой телефон.

## 37

Есть с утра не хотелось. Иван напился прямо из кофейника холодного вчерашнего кофе, с тоской поглядел на стопку новых журналов. Тут его вызвал Ржевский.

Иван подумал, что Ржевский за последние недели заметно осунулся.

— Смотри, — сказал он, подвигая через стол стопку медицинских отчетов.

— Это то, о чем пациенту знать не положено. Но ты активно занимаешься самоуничтожением.

В отчетах не было ничего нового. Правда, есть некоторый регресс. Такое впечатление, что он старик, у которого барахлят различные системы.

— Физиологически я тебя обгоняю, — сказал Иван равнодушно.

— Созываем консилиум. Наверное, переведем тебя в клинику.

— Там я точно загнусь, — сказал Иван.

— Но ты сам не хочешь себе помочь.

— В клинике они могут лечить то, что им знакомо. А я только кажусь таким же, как другие люди.

— Ты устроен, как другие люди.

— Не верю. Каждый человек запрограммирован на определенную продолжительность жизни. Хотя бы приблизительно. Возможно, программа эта отрабатывается в утробе матери. Ты тоже не знаешь, как эта система действует. Все эти годы ты гнал себя к практическому результату. На философскую сторону дела взглянуть не удосужился.

— На философскую? — спросил Ржевский раздраженно. — А может, на мистическую?

В кабинет заглянула Гурина подписать бумаги о питании для новых обезьян. Ржевский подписал, не читая.

— О чем мы говорили? — спросил он, когда Гурина ушла.

— О том, что ты, отец, боишься провала эксперимента больше, чем моего разрушения. Не бойся, независимо от конечного результата эксперимент великолепен. Ты все делал точно.

— Балбес! Ты же мой сын.

— Ты давно это понял?

— Помнишь, ты заходил ко мне на днях, копался на антресолях в старых черепках? Я очень не хотел, чтобы ты уходил.

— Я снова видел Дубова. Он обещает взять меня в экспедицию. Тебя тоже звал. Он до сих пор убежден, что ты стал бы великим археологом.

— Может быть. Только это скучно.

— Мне так не кажется.

— В твоем возрасте я еще жалел иногда, что сижу в лаборатории. Это у нас общее детское увлечение.

— А если для меня это важно и сейчас?

— Не отвлекайся. У нас есть проблемы и поважнее.

Иван пожал плечами. Если в самом деле человек должен всю жизнь выбирать дороги, то отец очень далеко ушел по своей. И уже не может понять, что проблема выбора на распутье, решенная им, может быть не решена Иваном до конца.

— Ты авторитарнее меня, — сказал Иван. — Перед тобой серия задач. Это и есть твоя жизнь. Решил одну, решаешь другую, и самочувствие подопытных кроликов тебя не волнует.

— Самоуничижение паче гордыни.

— Я не о себе, отец.

Иван встал, подошел к окну. Снег сохранился только под деревьями и в тени, за домом. Над белыми домами у горизонта шли высокие пушистые облака. Таких зимой не бывает. Если утром лечь в степи и смотреть в небо, то очень интересно следить, как они переливаются, меняя форму, и мысленно угадывать эти изменения, представляя себя небесным скульптором.

— О ком же? — услышал он настойчивый голос отца. — О ком же? Ты меня слышишь?

— О твоем давнем эксперименте. С Лизой. Тогда, тридцать лет назад, Виктор сказал тебе, что ты должен выбирать между Лизой и наукой. А ведь выбирать не надо было. Просто тебе удобнее было выбрать.

— При чем тут Виктор?

— Он очень вовремя пугнул тебя.

— Не помню.

— Я мог бы написать исследование о свойствах человеческой памяти. Как ловко она умеет выбрасывать то, что мешает спокойствию и благополучию ее хозяина. Ты ее мог найти и вернуть.

— Как ее найдешь, если даже адрес... — Вдруг Ржевский замолчал. И Иван понял, почему. Он отвечал как бы чужому человеку, а вспомнил, что говорит сам с собой.

Облако за окном наконец-то перестало напоминать Алевича, спрятав внутрь его нос. Налетел ветер, и деревья в парке дружно склонились в одну сторону, помахивая вороньими гнездами на вершинах.

— Не так, — сказал Ржевский. — Конечно, я сначала боялся ее возвращения. А потом смог жить без нее. Если бы я хотел найти, то нашел бы и в Вологде. Но никакого разговора с Виктором я не помню.

— Он в самом деле ничего не решал, — сказал Иван. — Дело только в нас. Ты выбрасываешь что-то из головы, прячешь в подвалах мозга, забрасываешь сверху грудой тряпья... А я не могу спрятать твое добро в свой подвал. Гнет прошлого — для тебя застарелая зубная боль. Не больше. А что если в каждом человеке, независимо от его восприятия собственной жизни, таится не осознаваемая им некая шкала важности поступков для развития его личности? И на той шкале твой разрыв с Лизой оказался чрезвычайно важен. Тебе ведь хотелось все бросить, бежать к ней... А ты вместо этого мчался на чрезвычайно ответственную конференцию в Душанбе.

— Погоди. — Ржевский тоже поднялся, подошел к окну и встал рядом с сыном, поглядел на облака. — Как они меняют форму! Я раньше любил на них смотреть... О чем я? Да, ты все время стремишься отделиться от меня, стать самостоятельной личностью. Я тебя понимаю. Но ты же сам себе мешаешь! Пока ты копаешься в моем прошлом, ты связан со мной. Так убеди себя: это не мое прошлое! Это прошлое Сергея!

— Я не могу жить, пока не разгребу твои подвалы.

— Ну почему же?!

— Потому что я твоя генетическая копия. Если ты вор, я должен понять, почему, чтобы самому не стать вором. Если ты убийца, предатель, трус, эгоист, я должен понять, унаследовал ли я эти твои качества или смогу от них избавиться.

— И ты тоже думаешь, что я убийца?

— Унаследовав твою память, я ни черта не понял!

— Неужели в моем прошлом нет ничего, что бы тебя радовало? — Ржевский попытался улыбнуться.

— Есть, — сказал Иван, повернувшись к нему и глядя прямо в глаза. — Есть вечер на берегу Волхова, когда рядом сидел Пашка Дубов, а потом пришел Коля с печатью...

— Это чепуха, — уверенно сказал Ржевский. Он не поверил. Он вернулся к письменному столу, полистал зачем-то настольный календарь. Вздохнул. — Будь другом, — сказал он, — отдохни сегодня. Завтра консилиум. Хочешь, я попрошу Ниночку с тобой погулять?

— Ей надо заниматься, — ответил Иван.

## 38

На месте врачей Иван не стал бы рисковать — загнал бы себя в клинику, и с плеч долой.

Если он начнет доказывать врачам, что дело в чрезмерной нагрузке на мозг, они ему или не поверят, или залечат... Нет, даваться нельзя.

С утра Иван послушно подвергся всем анализам, потом заявил Ниночке, что в ее заботе не нуждается. Ниночка почуяла неладное, но промолчала — верный ребенок. Потом Иван сунул в карман зарплату, институтское удостоверение, оделся потеплее и вышел в сад.

Из сада он знакомой тропинкой, скользя по подтаявшему снегу, прошел к автобусной остановке. Чувствовал он себя погано, но надо было держаться. Вышло солнце. Было тихо, чирикала какая-то весенняя птаха.

Почему-то он помнил, что Виктор всегда ходит обедать в столовую на углу улицы Чернышевского и Хлопотного переулка, там у него все официантки знакомые и пиво оставляют — видно, при какой-то случайной встрече похвастался... К этой столовой Иван и поехал. Там Виктора не было. Тогда Иван вышел на улицу — в столовой было душно, а от запахов, в общем обыкновенных, Ивана мутило — тоже плохой симптом.

Иван стоял у входа в столовую, прислонившись спиной к холодной стене. У него возникла идея, как можно упростить процесс рассечения ДНК, и он мысленно принялся конструировать такое приспособление, но тут увидел, что по улице бредет Виктор. Тот прошел было, но узнал Ивана. Остановился настороженно.

— Здравствуйте, — сказал Иван. — Я вас жду.

— Понимаю, — быстро ответил Виктор. — Разумеется, почему нам не поговорить, а то прошлый раз не получилось, мне самому тоже очень хотелось. Здесь скамейки есть во дворе — летом пиво там пью, посидим, а? Нас никто не увидит.

Виктор первым успел к скамейке — стряхнул с нее перчаткой снег.

— Не простудитесь?

Иван сел, закурил. Он курил больше Ржевского.

— Поймите меня правильно, — продолжал Виктор. — Я не имею ничего против ваших отношений с Ниночкой. Вы не подумайте.

Господи, подумал Иван устало, он решил, что я собираюсь жениться на Нине, — они это обсуждают на кухне и боятся этого. Тут есть что-то запретное, но почетное.

— Я хотел спросить вас о другом. О том, что случилось двадцать пять лет назад.

— Двадцать пять лет?

— Как вы думаете, почему Ржевский ушел от Лизы?

— Он не уходил, — быстро ответил Виктор. — Она сама ушла. Она была очень гордой женщиной — ее обидели, и она ушла. Это я гарантирую.

— Но как получилось, что Сергей так ее обидел?

— Фактически убил, я не боюсь преувеличений. Ради него она от всего отказалась...

— А вы что тогда делали?

— Я понимал, что Сергей эгоист. Нет, не в плохом смысле, но для него наука — все. Ему казалось, что Лиза ему мешает. Вот он и отстранил ее с пути... Ей ничего не оставалось, как уйти.

Виктор курил жадно, глубоко затягиваясь. Ого, как он не любит Сергея, подумал Иван, и не может ему ничего простить даже теперь, через столько лет. А может, именно за столько лет и накопилась злость.

— Почему вы ему сказали, что его не примут в аспирантуру?

— Я? Никогда не говорил. Не было этого.

Другого ответа Иван не ждал.

— А потом вы еще видели Лизу?

— Это тебе нужно? Или Сергей прислал?

— Он ничего не знает.

— Тебе скажу. Лиза позвонила мне, вся в слезах, голос дрожит. Сережа, говорит, меня бросил. Я с ней встретился. Катька больная, говорю я, ты куда? Но ты же знаешь, если Лиза чего решила, ее танками не остановишь. Я, говорит, помехой ему не буду, ему наука нужнее нас. И я ее проводил...

— Куда проводили?

— Куда? На вокзал, конечно, в Вологду.

— А потом?

— Через несколько месяцев она погибла. Думаю, покончила с собой... После этого я уже не мог дружить с Ржевским. И зачем тебе все это?

— Мне надо узнать правду.

— Правду? — удивился Виктор. — Разве она бывает? Она умирает с людьми. Сколько людей, столько и правд.

— Мне нужна одна правда, — повторил Иван.

— Ищи. Только потом на меня не обижайся.

— Где жила мать Лизы?

— Послушай, прошло почти тридцать лет!

— Вы же там бывали. Вы знаете адрес.

— Забыл. Ей-богу, забыл.

— Подумайте.

— Там никто не живет. Екатерина Георгиевна Максимова, так ее мать звали, умерла лет десять назад. Никого там нет. И брат куда-то уехал.

— Вы заходили туда?

— Запиши, Арбат, дом...

Виктор смотрел, как Иван записывает адрес. Потом сказал:

— А может, лучше примем по кружке — у меня тут все официантки знакомые...

## 39

Оказалось, что Виктор был прав. Мать Лизы давно умерла, в квартире жили чужие люди, и никто не мог помочь. Борясь с головной болью и все более проникаясь безнадежностью этого дела, Иван обошел все соседние квартиры, где тоже давно сменились жильцы, сходил в домоуправление, наконец, совсем отчаявшись, остановился посреди двора, возле стола, за которым два старика играли в шахматы, а еще несколько человек внимательно наблюдали за игрой. Один из шахматистов, который давно поглядывал на него, вдруг сказал, приподняв пешку:

— В продовольственный сходи, тридцать второй, до угла дойдешь, направо

— голубая вывеска. Спроси там грузчика Валю. Запомнил?

Тут же отвернулся, поставил пешку и сказал противнику:

— Твой ход, Эдик.

Иван так устал, что не стал ничего спрашивать — велели идти, пошел. В магазине он спросил продавщицу:

— Грузчик Валя здесь?

Она мотнула головой за прилавок. Иван прошел внутрь, там был темный коридор, дальше — лестница в подвал, где горел свет. В подвале на ящике сидел пожилой мужчина с мятым, когда-то красивым, но незначительным лицом и пил пиво из горлышка.

— Здравствуйте, — сказал Иван. Лицо грузчика было знакомо. Валя был похож на Лизу и на Екатерину Георгиевну. — Валя, вы меня не знаете...

Брат Лизы поднялся с ящика, протер тыльной стороной ладони и тихо выругался.

— Ну, точная копия, — сказал он. — Абсолютное сходство. Дух подземный, откуда ты приперся?

— Я сын Ржевского, — сказал Иван.

— Не надо объяснений. Ясное дело, что сын. Как меня нашел?

— Соседи во дворе сказали.

— Повезло. Давно там не живу — следы мои затерялись в людском море. Значит, женился все-таки твой папаша, на своей, наверное, из института?

Валя Максимов нервничал, руки его дрожали.

— Ты садись, — сказал он. — Сколько лет прошло. Я против твоего отца ничего не имею. Лизетта себя с ним человеком ощущала. Что за дела! Как он? Не болеет? А мать умерла. В семьдесят втором. Не повезло ей с нами.

— Я хочу узнать, что случилось после того, как отец расстался с вашей сестрой, — сказал Иван. — Мне это важно.

— Не присутствовал, — сказал Валя Максимов. — Не берусь определять причины и следствия. Но если сильно интересуешься, поезжай туда, с Катькой поговори. Она меня за человека не считает, но к праздникам поздравления шлет.

— Дочь Лизы?

— Она.

## 40

В самолете Иван потерял сознание, к счастью ненадолго. С аэродрома в Вологде он позвонил в Москву, в институт, но не к Ржевскому, а в лабораторию. Подошла Ниночка.

— Скажешь Ржевскому, что у меня все в порядке. Я дышу воздухом.

Было уже темно, девятый час, в голосе Ниночки дрожали слезы — Иван представил, какая паника царит в институте.

— Ты же никому ничего не сказал!

— Дела, котенок, у каждого мужчины бывают дела. Завтра приду, все расскажу.

Он повесил трубку и пошел на стоянку такси.

Катя была дома. Она жила в маленькой квартирке, в новом пятиэтажном доме у реки. Из окна была видна набережная, фонари на той стороне, светлые стены и маковки кокетливых церквей.

— Я вас сразу узнала, — сказала она. — Как вы вошли, так и узнала.

Говорила она медленно, ровно. У нее была длинная коса, редко кто в наши дни носит косу, коса лежала на высокой груди.

— Пойдемте на кухню, — сказала Катя глуховатым голосом. — А то моя Лизочка проснется.

Катя поставила чайник. Ивану стало спокойно. Он с наслаждением предвкушал, что чай будет крепким и душистым. Лиза тоже хорошо заваривала чай. Иван любовался плавными и точными движениями Кати.

— А ваш муж где? — спросил он.

— Нет у меня мужа, — сказала Катя, — ушла я от него. Пьет. Он инженер хороший, способный, только пьет и взялся меня колотить... а меня колотить нельзя. — Она улыбнулась, и ей самой было непонятно, как можно ее бить. — А вы прямо из Москвы приехали?

— Из Москвы.

— Отец прислал? Я его папой Сережей называла. Он добрый был, мне всегда конфеты приносил. Вы не представляете, как я первые дни плакала по нему.

— Он меня не присылал. Я сам.

— Вы где остановились?

— Я потом в гостиницу пойду.

— В гостиницу у нас даже по брони не устроишься, — сказала Катя. — У меня переночуете. Я вам раскладушку сделаю — вы не обидитесь, что на раскладушке?

— Спасибо, — сказал Иван, — а то я замучился сегодня.

— Бледный вы, ужасно бледный. Сейчас чаю попьем, отпустит.

От чая, душистого и крепкого, стало полегче. Он с Катей был знаком давно, тысячу лет знаком.

— Что, — спросила она, — отец все переживает?

— Он считает, что виновен в смерти вашей мамы!

— Ой, ужас-то какой! Я бы знала, обязательно бы написала, как все дело было! Мама на него совсем не сердилась. Ну ни капли. Она со мной всегда разговаривала, как сейчас помню — мне интересно, что со мной как со взрослой разговаривают. Мы же целый год вдвоем прожили... У тетки моей, тетка тоже хорошая была, ненавязчивая. Мы неплохо жили, вы не думайте, мать работала, тетка тоже, я в садике была. Конечно, мама тосковала по папе Сереже, очень сильно тосковала — писала ему письма, целую пачку написала — я их сохранила, показать могу. Даже думала после маминой смерти, что надо послать. Но потом не послала. Человек забыл, а я ему душу травить буду. Он ведь женился, вас родил, ему получать такие письма было неправильно. И ваша мама бы беспокоилась.

— Сергей Андреевич так и не женился.

— А как же...

— Катюша, придется вам все рассказать. Только сначала расскажите вы. Ведь это я к вам ехал, а не вы ко мне.

— Правильно, — сказала Катя, — а что рассказывать?

— Почему ваша мама... умерла?

— Бывают такие случайности — она улицу переходила, а ее грузовик сшиб, шофер пьяный был, занесло на повороте — вот и сшиб.

— А мне сказали, что она бросилась под поезд... и отец так думает. Он вас искал...

— Видно, не сильно искал. Вы-то нашли. Не обижайтесь. Мама весь тот год ждала. Да и Виктор Семенович адрес знал. Он маме письма писал. А потом моя тетка ему про мамину смерть написала. Вы Виктора Семеновича знаете? Он вашего отца самый близкий друг.

— И письма Виктора Семеновича тоже сохранились?

— Их всего два было. Одно так, записка, другое длинное. Он маме писал, что любит ее и хочет на ней жениться. Но мама ему сразу отказала очень решительно, даже резко. И он понял... Мать папу Сережу любила.

И вдруг Катя заплакала — из серых выпуклых глаз по матовым щекам покатились слезы. Она вскочила, убежала в ванную. Вернулась не сразу, принесла из комнаты шкатулку.

Там лежали поздравительные открытки, какие-то билеты, квитанции и письма. Пачка писем в белых ненадписанных конвертах была перевязана ленточкой.

— Это мамина корреспонденция, — сказала Катя, — все Сергею Андреевичу. Не думайте, его она не упрекала — она себя упрекала из-за того, что стала ему помехой.

Из-под пачки тех писем Катя вытащила еще одно.

Почерк на конверте был знаком. Маленький, по-женски округлый почерк Виктора не изменился за тридцать лет.

«Дорогая Лизочка!

В нашем последнем разговоре ты решительно отказала мне во встрече. Права ли ты? Не мне решать. Я ничего не могу сделать с моей любовью к тебе, о которой я всегда молчал, потому что неловко объясняться в любви к женщине, с которой живет твой друг. И для меня это было мучительно вдвойне, так как я видел, что ваша жизнь катиться под уклон, что она обречена на гибель. Он же не любил тебя, неужели ты так и не поняла? Ты была ему удобна для уюта, не обижайся, но это так. Связывать свою жизнь с тобой он не собирался. Ты была слепа, но теперь-то хоть твои глаза открылись? И эта история, что его не примут в аспирантуру, — ты пытаешься в ней найти ему оправдание, — клянусь тебе, что никаких неприятностей у него на работе не было, просто он выбрал удобный момент, чтобы отделаться от тебя. До чего все-таки наивны бывают женщины, даже такие умные, как ты... Последние месяцы у Сережи кипел бурный роман с Эльзой, об этом знал я и страшно переживал за твою честь и тоже скрывал все от тебя...»

Иван понял, что не хочет дочитывать письмо. Может быть, его дочитает отец. А может, ему тоже не надо его видеть. Как скучно и подло...

— Ты знаешь, — сказал он, аккуратно складывая письмо Виктора, — что он потом женился на Эльзе?

— Он хотел, чтобы мама ушла от папы Сережи?

— Если бы не он, со временем все бы обошлось...

— Нет, — сказала Катя. — Не стали бы они жить. Он ее любил, конечно, но не так сильно, как надо. Свою работу он любил больше. И мама это тоже понимала. Может, потому и не сердилась на него. А знаешь, она с благодарностью все вспоминала — как они с ним в Ленинград ездили, как в кино ходили. Он ей книжку Вересаева о Пушкине подарил, ты не читал? Хочешь, покажу? Она эту книгу как Библию берегла. Нет, — повторила Катя. — Не стали бы они жить.

Он долго не мог заснуть. А Катя уснула сразу, и в тишине квартиры ему было слышно ее тихое ровное дыхание. Потом заворочалась, заплакала во сне маленькая Лиза. Иван подумал, что утром увидит ее.

И тут его начало жутко трясти. Даже зубы стучали. Он ворочался, старался сдерживаться, чтобы Катя не проснулась, но потом забылся, и, видно, его стон разбудил Катю. У Ивана начался бред. Катя перепугалась, выбежала на улицу, из автомата вызвала «скорую помощь», и Ивана увезли.

Катя отвела Лизочку в садик и вернулась в больницу.

Когда Иван пришел в себя, он увидел очень близко серые глаза Кати, протянул непослушную руку и дотронулся до конца косы.

— Здравствуй, — сказал он. — Спасибо.

— За что?

Иван хотел объяснить, но объяснить было невозможно, язык не слушался, и он понимал, что скажет все это потом. А сейчас надо не упустить еще одну важную мысль. И он попросил ее срочно позвонить в Москву, Ржевскому.

В тот же день за Иваном прилетели Сергей Андреевич и профессор Володин. Ржевский прошел в палату. У Ивана был жар, но он узнал отца и сказал:

— Познакомься.

— Сергей Андреевич, — протянул Кате руку Ржевский.

Странно, что он ее не узнает, ведь она похожа на Лизу. Но Ржевский думал в этот момент только об Иване. И даже когда Иван сказал: «Катя Максимова», он не сразу сообразил.

— Катя Максимова, — повторила та.

И только тут кусочки мозаики встали на свои места.

— Катя, — сказал он тихо.

— Письма, — сказал Иван. — Не забудьте письма отцу. Ему они очень нужны. А то у нас один шимпанзе умер...

— А они у меня с собой, — сказала Катя. — Не знаю, почему в больницу их взяла.

## 41

Когда Иван уже выздоравливал, случилась еще одна встреча, не очень приятная. Утром перед обходом, когда посетителей не пускают, к нему в палату пробрался Виктор — как уж ему удалось это сделать, одному Богу известно.

— Только два слова, — сказал он. Он был пьян и жалок. — Я все знаю, мне Ниночка рассказала. Только два слова. У меня дочь, единственное любимое существо, вы этого еще не знаете, но поймете. Если она узнает, мне лучше умереть. Я клянусь вам, что я любил Лизу, честное слово. Но про аспирантуру и то, что вы можете считать клеветой, это очень сложный сплав. Эту идею мне Эльза подсказала. Не хотела она Сергея Лизе отдавать. Она — разрушитель, понимаете. А я к Лизе стремился. И страдал. Тебе не понять. — Виктор говорил быстрым, громким шепотом, клонился к кровати, и от него так несло перегаром, что Иван отстранил голову. Но Виктор не замечал, он спешил каяться. — Она бы не уехала, надеялась, но я тогда на следующее утро пришел к ней, к матери ее, как будто от имени Сережи, она этого никому не сказала. И подтвердил, что он не хочет ее больше видеть. Поэтому она уехала. И аминь. Тебя интересует правда? Правда в том, что я Лизе был бы хорошим мужем. Она не поняла. Я угодил в лапки к Эльзе, а она погибла. Молчите, а? Если Ниночка вам дорога. Это для нее будет невыносимая травма.

— Уходите, — сказал Иван. — Никому я ничего не буду говорить.

Тот ушел. И вовремя. Через пять минут прибежала Ниночка, принесла тарелку клубники и массу институтских новостей.

Через два дня Иван начал вставать. Кризис миновал. Володин утверждал, что его организму пришлось преодолеть биологическую несовместимость. Как при пересадке органа. Только здесь речь шла о двух личностях. Теория переполнения мозга информацией у Володина сочувствия не вызвала. «Ничего особенного вы своему мозгу не задали, коллега», — сказал он. Но Иван остался при своем мнении. Чужие сны были теперь не так мучительны. Хоть и не исчезли совсем. Ниночка таяла от чувств, ей очень хотелось кормить Ивана с ложечки, она легко краснела и обижалась по пустякам.

Отец снова предложил переехать к нему.

— Не надо, — сказал Иван, — мы слишком разные люди.

— Чепуха.

— Я вчера целый час решал задачу, которую ты не смог решить в контрольной в десятом классе. И решил.

— Вот видишь, это же моя задача. И есть еще миллион задач, которые мы решим вместе.

— Ты даже не помнишь, что за задача. Ты умеешь забывать о своих провалах, а мне такой способности не дал.

И тут, когда спор грозил превратиться в ссору, вошел Дубов. Опять с авоськой, полной пакетов и бутылок. Он начал неловко и шумно целовать Ржевского, потом вспомнил, что принес гостинцы, и вывалил из сумки все на стол и принялся делить — что домой Люсеньке, а что больному Ванечке.

— Такое счастье, — повторял он, — что Ваня решил стать археологом. Люся тоже согласна, понимаешь? Он как бы подхватит эстафету, выпавшую из твоей ослабевшей руки. Жалко, что у меня нет такого сына.

— Каким еще археологом! — зарычал Ржевский.

Ниночка впорхнула в комнату, замерла на пороге, сжимая испуганными пальчиками пакет с ягодами — темно-красные пятна проявлялись на бумаге.

— Я уезжаю в экспедицию. Через две недели, — сказал Иван. — Осенью вернусь.

— Ты с ума сошел! Кто тебя пустит?

— Профессор Володин не возражает. Он даже обрадовался. Утверждает, что свежий воздух и пыль раскопов — лучшее лекарство для гомункулусов, — сказал Иван. Он сейчас был куда сильнее отца и пользовался этой силой.

— Мог бы мне сказать раньше, — произнес Ржевский.

— У нас еще две недели. Завтра принеси мне новые журналы. Я еще ничего не решил. Мне не хочется ошибаться.

— Ладно, — сказал отец, — я пошел.

Он обернулся к Дубову.

— Паш, — сказал он, — зайди потом ко мне, хочешь домой, хочешь в институт.

— Конечно, — сказал Дубов. — Нам столько есть чего вспомнить... А хочешь, я сейчас с тобой пойду? Я тебя провожу.

— Отец, — сказал вслед Ржевскому Иван, — Катя не собиралась приехать?

— С чего ты решил? — пришел черед Ржевского взять реванш.

— Так просто подумал...

— Я послал ей телеграмму, — сказал Ржевский. — Если она согласится переехать в Москву...

— Иди, — сказал Иван. — Иди, перечитывай Лизины письма. А ты, Нина, положи наконец пакет на стол, блузку испачкаешь.